



АРТУРО ПЕРЕС-РЕВЕРТЕ

Тень гильотины, или Добрые люди

От автора
знаменитых бестселлеров
«Фламандская доска»
и «Кожа для барабана»!

PREMIUM

Арту́ро Перес-Реверте

Тень гильотины, или Добрые люди

Серия «Азбука Premium»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=55599007

Тень гильотины, или Добрые люди:

ISBN 978-5-389-18362-9

Аннотация

В романе литературный отец знаменитого капитана Алатристе погружает нас в смутные предреволюционные времена французской истории конца XVIII века. Старый мир рушится, тюрьмы Франции переполнены, жгут книги, усиливается террор. И на этом тревожном фоне дон Эрмохенес Молина, академик, переводчик Вергилия, и товарищ его, отставной командир бригады морских пехотинцев дон Педро Сарате, по заданию Испанской королевской академии отправляются в Париж в поисках первого издания опальной «Энциклопедии» Дидро и Д'Аламбера, которую святая инквизиция включила в свой «Индекс запрещенных книг». Экспедиция двух испанцев в любой момент может обернуться их гибелью, потому что за книжной редкостью охотятся не они одни. И еще – над ними незримо нависает тень гильотины...

Содержание

1. Двое: высокий и толстяк	8
2. Опасный человек	69
3. Диалоги на постоянных дворах и в пути	109
4. О кораблях, книгах и женщинах	170
Конец ознакомительного фрагмента.	188

Артуро Перес-Реверте

Тень гильотины, или Добрые люди

© Н. М. Беленькая, перевод, 2016

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2020

Издательство АЗБУКА®

Грегорио Сальвадору.

*А также Антонио Колино, Антонио Минготе и
адмиралу Альваресу-Аренасу, in memoriam.*

*Истина, вера, человеческий род проходят
бесследно, их забывают, память о них исчезает.*

*За исключением тех немногих, кто принял
истину, разделил веру или полюбил этих людей.*

Джозеф Конрад. Юность

*Роман основан на реальных событиях, места
и персонажи существуют на самом деле, однако
большая часть сюжета и действующих лиц
принадлежит вымышленной реальности, созданной
автором.*

Представить себе дуэль на рассвете в Париже конца XVIII века не так сложно. На помощь придут прочитанные кни-

ги и просмотренные фильмы. Описать ее на бумаге сложнее. А использовать как зачин для романа по-своему даже рискованно. Задача состоит в том, чтобы заставить читателя увидеть то, что видит – или воображает – автор. Для этого надо сделаться чужими глазами – глазами читателя, а затем незаметно удалиться, оставив его один на один с историей, которую ему предстоит узнать. Наша история начинается на лугу, покрытом утренним инеем, в размытом сероватом свете; необходимо добавить сюда и туманную дымку, не слишком густую, сквозь которую в брезжущем свете рождающегося дня смутно проступают очертания рощи, окружающей французскую столицу, – сегодня большинства ее деревьев уже не существует, а оставшиеся оказались в городской черте.

Теперь представим себе персонажей, дополняющих мизансцену. В первых лучах рассвета виднеются две человеческие фигуры, слегка размытые утренней дымкой. Чуть поодаль, ближе к деревьям, возле трех запряженных лошадьми экипажей – другие фигуры: это мужчины, закутанные в плащи, в надвинутых до бровей треуголках. Их около полудюжины, однако их присутствие не так важно для основной мизансцены; так что на какое-то время мы их покинем. Куда важнее сейчас те двое, застывшие неподвижно один подле другого на мокрой траве луга. Они в облегающих брюках до колен и рубашках, поверх которых нет ни камзола, ни сюртука. Один худ, высок ростом – особенно для своей эпохи; се-

дые волосы собраны на затылке в небольшой хвост. Другой – среднего роста, волосы завиты, уложены на висках локонами и припудрены по последней моде тогдашнего времени. Ни один из этих двоих не выглядит юношей, хотя расстояние не позволяет утверждать это с уверенностью. А посему давайте приблизимся. Посмотрим на них повнимательнее.

Предмет, который каждый из них держит в руках, – не что иное, как шпага. Похожа на учебную рапиру, если не при-сматриваться. А дело, по всей видимости, серьезное. Очень серьезное. Эти двое все еще стоят неподвижно на расстоянии трех шагов друг от друга, пристально глядя перед собой. Может показаться, что они размышляют. Возможно, о том, что вот-вот произойдет. Их руки свисают вдоль тела, и кончики шпаг касаются травы, покрытой инеем. У того, который пониже – вблизи он выглядит и моложе, – вид надменный, демонстративно-презрительный. Внимательно изучая соперника, он будто бы желает продемонстрировать свою статью и осанку кому-то еще, кто смотрит на него со стороны рощи, окружающей луг. У другого мужчины – он выше ростом и явно старше по возрасту – глаза водянисто-голубые, меланхоличные, они словно вобрали в себя влажность холодного утра. На первый взгляд может показаться, что глаза эти изучают человека, стоящего напротив, но, если мы заглянем в них, нам станет очевидно, что это не так. На самом деле взгляд их рассеян, отрешен. И если бы человек, стоящий напротив, пошевелился или изменил позу, эти глаза, вероятно,

по-прежнему смотрели бы перед собой, ничего не замечая, равнодушные ко всему, устремленные к другим картинам, различимым только для него одного.

Со стороны экипажей, ожидающих под деревьями, доносится чей-то голос, и двое стоящих на лугу мужчин медленно поднимают свои клинки. Они коротко приветствуют друг друга – один из них подносит гарду к подбородку – и снова встают на изготовку. Тот, что пониже ростом, ставит свободную руку на бедро, принимая классическую позицию для фехтования. Другой, повыше, с водянистыми глазами и серым хвостом на затылке, выставляет перед собой оружие и поднимает другую руку, согнутую в локте почти под прямым углом. Пальцы расслаблены и устремлены чуть вперед. Наконец клинки осторожно соприкасаются, и тонкий серебряный звон плывет в холодном утреннем воздухе.

Однако настало время рассказать историю. Сейчас мы узнаем, что привело героев на этот луг в столь ранний утренний час.

1. Двое: высокий и толстяк

Истинное удовольствие слышать, как они беседуют о математике, современной физике, естественной истории, правах человека, а также античности и литературе, иной раз допуская большие недосказанностей, чем если бы речь шла об изготовлении фальшивых денег. Они живут тайком и умирают так же, как жили.

Х. Кадальсо. Марокканские письма

Я обнаружил их случайно в дальнем углу библиотеки: двадцать восемь увесистых томов в переплете из светло-коричневой кожи, слегка потертой и попорченной временем – их как-никак использовали два с половиной века. Я не знал, что они там, – на этих стеллажах мне понадобилось что-то совершенно другое, – как вдруг меня привлекла надпись на одном из корешков: «*Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné*»¹. Самое первое издание. То, что начало выходить в 1751 году и чей последний том увидел свет в 1772-м. Конечно, я знал о ее существовании. Как-то раз лет пять назад я даже чуть было не приобрел эту энциклопедию у своего друга – собирателя старинных книг Луиса Бардона, который готов был уступить мне ее в том случае, если клиент, с которым они предварительно договорились, внезапно передумает. Но, к несча-

¹ «Энциклопедия, или Толковый словарь» (фр.).

стью, – или, наоборот, к счастью, поскольку цена была облачная, – клиент ее купил. Это был Педро Х. Рамирес, в то время редактор ежедневной газеты «Эль Мундо». Как-то вечером, ужиная у него дома, я заметил эти тома в его библиотеке – они красовались на самом видном месте. Владелец был в курсе моей несостоявшейся сделки с Бардоном и подшучивал по этому поводу. «Не отчаивайтесь, дружище, в следующий раз повезет», – говорил он мне. Однако следующий раз так и не наступил. Это большая редкость на книжном рынке. Не говоря о том, чтобы приобрести все собрание целиком.

Так или иначе, в то утро я увидел ее в библиотеке Испанской королевской академии – вот уже двенадцать лет она занимала полку под литерой «Т». Передо мной было произведение, ставшее самым захватывающим интеллектуальным приключением XVIII века: первая и абсолютная победа разума и прогресса над силами тьмы. Тома издания включали в себя 72 000 статей, 16 500 страниц и 17 миллионов слов, отражающих самую передовую мысль эпохи, и были в итоге осуждены католической церковью, а их авторам и издателям грозили тюремное заключение и даже смертная казнь. Каким образом произведение, столь долго входившее в «Индекс запрещенных книг», добралось до этой библиотеки, спрашивал я себя? Как и когда это случилось? Солнечные лучи, льющиеся в библиотечные окна, ложились на пол сияющими квадратами, создавая атмосферу полотен Велас-

кеса, а позолоченные корешки двадцати восьми старинных томов, теснившихся на полке, поблескивали таинственно и маняще. Я протянул руку, взял один том и открыл титульную страницу:

ENCYCLOPÉDIE,
OU
DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS,
PAR UNE SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES.
TOME PREMIER
MDCCLI
AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROY²

Две последние строчки вызвали у меня усмешку. Через сорок два года после этого обозначенного латинскими цифрами MDCCLI года, то есть в 1793 году, внук того самого *roy*³, который дал разрешения и привилегии для публикации первого тома, был казнен с помощью гильотины «на публичной площади» Парижа во имя тех самых идей, которые, вырвавшись со страниц его же «Энциклопедии», воспламенили Францию, а вслед за ней – добрую половину мира. Странная штука жизнь, подумал я. У нее очень своеобразное чувство юмора.

Я перевернул наугад несколько страниц. Девственнобе-

² Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел, написано сообществом просвещенных людей, том первый, с разрешения и по королевской привилегии, 1751 год (*фр.*).

³ Король (*фр.*).

лая, несмотря на возраст, бумага казалась только что вышедшей из типографии. Старая добрая хлопковая бумага, подумал я, не подвластная ни времени, ни человеческой глупости, как отличается она от едкой современной целлюлозы, которая за считанные годы желтеет, делая страницы ломкими и недолговечными. Я поднес книгу к лицу и с наслаждением вдохнул запах старой бумаги. Даже пахнет по-особому: свежестью. Я закрыл том, вернул его на полку и вышел из библиотеки. В то время меня занимало множество других дел, но двадцать восемь томов, скромно стоящих на полке в дальнем углу старого здания на улице Филиппа Четвертого в Мадриде среди тысячи других книг, не выходили у меня из головы. Позже я рассказал о них Виктору Гарсия де ла Конча, почетному директору, которого встретил около гардероба в вестибюле. Он подошел сам. У него было ко мне другое дело – ему для научных штудий понадобилась статья о воровском аргю в произведениях Кеведо, – но я быстро перевел разговор на то, что интересовало в тот момент меня самого. Гарсия де ла Конча только что завершил «Историю Испанской королевской академии», и подобные вещи были еще свежи в его памяти.

– В каком году Академия получила «Энциклопедию»?

Кажется, вопрос несколько удивил его. Потом он взял меня под руку со свойственной ему изысканной деликатностью, которая в продолжение всего его правления без труда утихомиривала любые склоки и распри в братстве академий

испаноязычного мира – так, повлиять на мексиканцев, вздумавших издавать свой собственный словарь, было сложнее, чем сплести кружево на коклюшках; не менее сложно было убедить банковский фонд профинансировать издание «Полного собрания сочинений» Сервантеса, посвященное четырехсотлетию написания «Дон Кихота». Вероятно, именно по этой причине мы переизбирали его несколько раз подряд, пока позволял возраст.

– Честно сказать, я не очень в курсе, – ответил он, пока мы шли по коридору к его кабинету. – По-моему, у нас она приблизительно с конца восемнадцатого века.

– А кто может рассказать об этом подробнее?

– А почему тебя это так заинтересовало, прости мое любопытство?

– Сам не знаю.

– Роман?

– Пока об этом рано говорить.

Он пристально посмотрел на меня своими пронзительными синими глазами. Иногда, чтобы подразнить коллег по Академии, я завожу разговор о романе. На самом деле я не собираюсь писать ничего подобного, но в шутку люблю пригрозить, что они все окажутся на его страницах. Называется он «Очищай, убивай, озаряй»: это история о преступлениях с участием призрака Сервантеса, который бродит по нашему зданию, однако видят его только консьержи. По сюжету всех членов Академии убивают одного за другим, начиная

с профессора Франсиско Рико, нашего блестящего специалиста по Сервантесу. Этот будет убит в первую очередь: его повесят на шнуре для гардин в банкетном зале.

– Ты ведь не имеешь в виду этот твой роман об убийствах? Тот, где...

– Нет, не беспокойся...

Гарсиа де ла Конча, человек в высшей степени деликатный и сдержанный, вздохнул с облегчением. Но облегчение это было слишком хорошо заметно.

– Мне очень понравилась твоя последняя книга, «Мурсийский танцор». Она, как бы это сказать...

Он был замечательный директор. И славный малый. Окончание фразы повисло в воздухе, предоставляя мне отличную возможность скромно пожать плечами.

– Мирской.

– Что, прости?

– Он назывался «Мирской танцор».

– Ах да... И как это я запамятовал? Даже президент появился прошлым летом в журнале «Ола!», лежа в гамаке с экземпляром твоего романа. Помнишь? В Захара-де-лос-Атунес.

– Скорее всего, журнал купила его супруга, – возразил я. – Сам-то он ни одной книги за всю жизнь не прочел.

– Дорогой мой, разве можно так говорить? – Гарсиа де ла Конча улыбнулся с напускным возмущением, которого формально требовало мое замечание. – Разве можно!

– Ты видел его хоть раз в какой-нибудь культурной программе? На театральной премьере? В опере? На обсуждении фильма?

– Разве можно...

Последнюю фразу он произнес в кабинете, пока мы усаживались в кресла. Солнце по-прежнему вливалось в окна, и мне пришло в голову, что истории, которые хочется рассказать, в такие дни овладевают нами полностью и уже не отпускают. Кто знает, сказал я себе, вдруг этот случайный разговор будет мне стоить ближайших пару лет жизни? В таком возрасте сюжетов для книг больше, чем свободного времени. Выбрать один означает умертвить все остальные. Выбирать надо с осторожностью: ошибиться никак нельзя.

– И больше ты ничего не знаешь?

Он пожал плечами, вертя в руках ножичек для разрезания бумаги, сделанный из слоновой кости, – такие ножички он имел обыкновение держать у себя на столе: на рукоятке были выгравированы те же герб и девиз, что и на медалях, которые мы надеваем во время торжественных событий. Со дня своего основания в 1713 году Испанская королевская академия живет своими традициями: это включает в себя ношение галстука внутри здания, обращение друг к другу на «вы» и прочее. Дикий обычай не допускать на заседания женщин остался в далеком прошлом: их все чаще можно встретить на планерках по четвергам. Мир изменился, и наша Академия тоже. Сейчас это всего лишь приличное гуманитарное

заведение, и академиками считаются лишь члены ректората. Старый образ мужского клуба, где заседают побитые молью старички-эрудиты, – не более чем избитое клише.

– Припоминаю, что дон Грегорио Сальвадор, наш декан-академик, однажды рассказывал мне про это, – немного поразмыслив, проговорил Гарсиа де ла Конча. – Путешествие во Францию за книгами или что-то в этом духе...

– Странно, – удивился я. – Ты говоришь, что это случилось в конце восемнадцатого века, однако в Испании «Энциклопедия» была в то время запрещена. Да и гораздо позже тоже.

Гарсиа де ла Конча наклонил голову, поставил локти на стол и посмотрел на меня поверх сплетенных пальцев. Как обычно, его глаза взирали на действия другого человека с тайной мольбой, прося об одном: чтобы их хозяину не осложняли жизнь.

– Может быть, Санчес Рон, библиотекарь, сумеет тебе помочь, – произнес он наконец. – Он занимается архивами, а в них хранятся протоколы всех заседаний от самого основания Академии. Если кто-то ездил за книгами, об этом сохранилась запись.

– Однако, если это сделали тайно, записей не осталось. Он улыбнулся.

– Ни в коем случае, – ответил он. – Академия всегда пользовалась поддержкой самого короля и держалась независимо, хотя случалось ей пережить и трудные времена. Вспом-

ни Фердинанда Седьмого или диктатора Примо де Риверу, который пытался прибрать ее к рукам... Или когда во времена гражданской войны Франко приказал заполнить новыми членами пустующие места академиков-республиканцев, изгнанных из страны, однако Академия наотрез отказалась это сделать: кресла оставались пустыми, пока изгнанники не умерли или не вернулись в Испанию.

Мне пришло в голову, что история эта на самом деле гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд: наверняка в ней много превратностей и непредвиденных поворотов. А ведь это, подсказывало мне чутье, неплохой сюжет!

– Вот было бы занятно, – предположил я, – если бы книги все-таки прибыли сюда тайно.

– Не знаю. Я никогда про это не думал. Если судьба этих книг так тебя интересует, сходи к библиотекарю и попытай счастья у него... Или навести дона Грегорио Сальвадора.

Так я и сделал. К этому часу мое любопытство было возбуждено до крайней степени. Я начал с Диарио Вильянуэва, директора нашей институции. Как всякий галисиец при исполнении – кем он, в сущности, и являлся, – он задал мне сто один вопрос, не ответив при этом ни на один из тех, что задал ему я. Его тоже интересовал мой несуществующий роман об убийствах, и когда я сказал ему, что в нем погибает профессор Рико, он немедленно потребовал назначить убийцей его. Ему было все равно, чем задушить жертву – шнуром от гардин или струной от гитары.

– Ничего не могу обещать, – ответил я. – На Пако выстроилась целая очередь: все хотят быть его убийцей.

Он посмотрел на меня с мольбой, положив руку мне на плечо.

– Сделай все, что от тебя зависит. Обещаю собственноручно проставить ударения над указательными местоимениями!

Затем я отправился к Мануэлю Санчесу Рону, библиотекарю. Это был высокий худой тип с седыми волосами и умными глазами, которые смотрят на мир с холодной пронизательностью. Мы стали академиками почти в одно и то же время и были приятелями. Он занимается в Академии научной работой и имеет степень профессора истории науки, однако исполняет обязанности библиотекаря. Это подразумевает ответственность за такие сокровища, как первое издание «Дон Кихота», бесценные манускрипты Лопе де Веги или Кеведо и прочие раритеты, которые хранились в подвале в несгораемом шкафу.

– «Энциклопедия» появилась в конце восемнадцатого века, – заверил он меня. – Это совершенно точно. Разумеется, она была запрещена как во Франции, так и в Испании. Однако там запрет был формальным, у нас же – абсолютным.

– Меня интересует, кто ее привез. Как он просочился сквозь фильтры своей эпохи... Как доставили эти книги в нашу библиотеку.

На секунду он задумался, покачиваясь на стуле, до поло-

вины скрытый стопками книг, которыми была заставлена вся поверхность его рабочего стола.

– Наверняка вопрос обсуждали на заседании, как и все прочие дела, – предположил он. – Вряд ли такое важное решение было принято без согласия всех академиков... Так что где-нибудь должен быть протокол, в котором это зафиксировано.

Я насторожился, как охотничий пес, учуявший дичь.

– А мы не могли бы посмотреть в архивах?

– Конечно могли бы. Но большинство протоколов до сих пор не оцифрованы. Где-нибудь хранятся оригиналы. Настоящие, на бумаге.

– Если протоколы найдутся, мы сможем установить, когда это было. И при каких обстоятельствах.

– Почему тебя это заинтересовало? Неужели еще один роман? И на этот раз исторический?

– Пока всего лишь любопытство.

– Ладно, постараюсь тебе помочь. Поговорю со служащей архива и свяжусь с тобой. Кстати, у меня тоже есть вопрос: что ты решил насчет Пако Рико? Может, сделаешь убийцей меня?

Я простился с ним и вернулся в библиотеку, к терпкому запаху старинной бумаги и кожи. Прямоугольники солнца на полу переместились и вытянулись, готовясь вот-вот погаснуть, а двадцать восемь томов «Энциклопедии», стоящие на своих полках, погрузились во мрак. Старинная позолота

тиснения на корешках уже не поблескивала, когда я провел по ним кончиками пальцев, лаская старую поблекшую кожу. Сюжет будущей истории уже сложился у меня в голове. Это произошло само собой, как обычно случается с подобными вещами. Я отчетливо увидел ее набросок со всеми коллизиями, завязкой и развязкой: серия эпизодов напоминала пустые домики, которые мне предстояло заполнить мизансценами и людьми. Будущий роман зажил своей жизнью, а его главы поджидали меня в уголках библиотеки. Тем же вечером, вернувшись домой, я уселся сочинять. И записывать.

Их двадцать четыре, но в этот четверг присутствуют только четырнадцать.

Их двадцать четыре, но в этот четверг присутствуют только четырнадцать. В большое старинное здание они прибыли поодиночке, а кое-кто парами, одни в повозке, другие – большая часть – пешком. В вестибюле они толпились небольшими группами, снимая плащи, пальто и шляпы, прежде чем войти в зал для заседаний и устроиться вокруг большого прямоугольного стола, покрытого кожаной скатертью с пятнами воска и чернил. Трости прислонены к креслам, носовые платки выныривают из рукавов камзолов и исчезают обратно. Принадлежащая директору коробочка с нюхательным табаком и гербом маркиза на крышке переходит из рук в руки. Апчхи! Будьте здоровы! Благодарю. Снова кто-то достает платок и чихает. Вежливый гул, состоящий из покашлива-

ний, шепота и комментариев вполголоса на тему ревматизма, воспалений, скверного пищеварения и прочих недугов заполняет первые минуты собрания, после чего, по-прежнему стоя, все произносят молитву «*Veni Sancte Spiritus*»⁴, а затем усаживаются в кресла, чья обивка заметно попорчена временем. Самому молодому из присутствующих сравнялось полвека: суконные камзолы темных тонов, несколько сутан, полдюжины припудренных – или же без следов пудры – париков, бритые физиономии, чей возраст выдают морщины и пятна старости. Внешность присутствующих соответствует скромной обстановке, освещенной восковыми свечами и масляными лампами. Портреты покойного короля Филиппа Пятого, а также маркиза де Вильены, основателя Академии, возглавляют ансамбль гардин из выцветшего бархата, старого линялого гобелена, мебели, покрытой потемневшим лаком, и стеллажей с книгами и папками. С некоторых пор, несмотря на строгую еженедельную уборку, описанные предметы покрывает толстый слой сероватой пыли, наполнившей воздух в результате усердия каменщиков: Дом Казны, где его величество король Карл Третий великодушно позволяет собираться членам Академии, располагается в старом флигеле нового королевского дворца, в котором ведутся ремонтные работы. В Испании XVIII века, который к этому времени перевалил уже за свою последнюю треть, даже сам испанский язык и его знатоки переживают упадок.

⁴ «Сойди Дух Святой» (лат.).

– Книгу! – требует Вега де Селья, директор.

Дон Херонимо де ла Кампа, театральный критик и автор пространной «Истории испанского театра» в двадцати двух томах, неуклюже поднимается со своего кресла и бредет к директору, чтобы вручить ему двадцать второй том, последний из опубликованных. С любезнейшей улыбкой директор берет у него из рук книгу и передает ее библиотекарю, дону Эрмохенесу Молине, блестящему знатоку латыни и несравненному переводчику Вергилия и Тацита.

– Академия благодарит вас, дон Херонимо, за сей труд, который пополнит нашу библиотеку, – говорит Вега де Селья.

Франсиско де Паула Вега де Селья, маркиз де Оксинага – старший шталмейстер его величества. Это элегантный мужчина, одетый по последней моде: его синий вышитый камзол и кафтан вишневого цвета с двумя цепочками от часов выделяются на общем фоне единственным ярким пятном. Благоразумный и осмотнительный счастливчик, он отлично знает двор, кроме того, наделен непревзойденным талантом дипломата. Кое-кто поговаривает, что, если бы его родители избрали для своего отпрыска карьеру церковника – подобно младшему брату, ныне епископу де Сольсона, – в этом возрасте он был бы уже римским кардиналом с перспективой в один прекрасный день стать папой. Что же до остального, хотя поэт он весьма посредственный – его «Письма Клоринде», написанные в юные годы, не принесли ему ни признания, ни

славы, — десять лет назад маркиз успешно опубликовал книгу под названием «Беседы о многообразии мнений и равенстве людей», которая принесла ему популярность на тертулиях⁵, где собирались сторонники прогрессивных взглядов, а заодно и неприятности с цензорами инквизиции. Не говоря уже о переписке с Руссо, которую он вел в течение некоторого времени. Все это придает налет просвещенности трудам их Ученого дома; и, как следствие, вызывает ревность в определенных кругах по ту сторону Пиренеев.

— Займемся текущими делами, — провозглашает он.

По его просьбе дон Клименте Палафокс, секретарь, докладывает собравшимся о состоянии исследований, ведущихся в Академии, о новых словарных статьях, которые будут включены в ближайшее переиздание «Толкового словаря» и «Орфографии», а также о средствах, выделенных для приобретения великолепного «Дон Кихота» в четырех томах, который только что вышел из типографии Ибарры.

— А сейчас, — добавляет секретарь, обводя собравшихся взглядом поверх очков, — как и намечалось, состоится голосование по вопросу путешествия в Париж за «Энциклопедией».

Все это он произносит по-французски с отличным произношением — известный эллинист, Палафокс является пере-

⁵ *Тертулия* — непереводимое слово, означающее «посиделки», «салон», ради которых испанцы собираются в кофейнях или барах и беседуют на различные темы — о литературе, музыке, политике, религии.

водчиком «Поэтики Аристотеля», которую он же и прокомментировал, – взгляд его блуждает по залу, а в правой руке он сжимает перо, зависшее над протоколом, дожидаясь каких-либо замечаний собравшихся, чтобы перейти к следующей теме.

– Быть может, сеньоры академики хотели бы что-то добавить к предыдущему обсуждению? – спрашивает директор.

На другом конце стола поднимается чья-то рука. Пухлые пальцы унизаны золотыми перстнями. Пламя одной из свечей отбрасывает зловещую тень на кожаную скатерть, покрывающую стол.

– Слово предоставляется дону Мануэлю Игеруэле.

Игеруэла начинает свою речь. Это толстяк лет шестидесяти с неповоротливой шеей и гнусавым голосом, на нем камзол с фижмами и парик без следов пудры, всегда сидящий чуть набекрень, словно хозяин нахлобучил его второпях, а лицо могло бы показаться самым заурядным, если бы не глаза – живые, недобрые и умные. Он пошловатый комедиограф и посредственный поэт, зато является издателем ультраконсервативного «Литературного цензора», имеющего мощную поддержку в самых реакционных кругах церкви и знати. Со своей журналистской трибуны он яростно атакует все, что мало-мальски пахнет прогрессом и просвещением.

– Я требую, чтобы вы занесли в протокол мое несогласие с этим проектом, – заявляет он.

Директор искоса бросает взгляд на секретаря, который

фиксирует происходящее. Затем чуть заметно вздыхает, с осторожностью подбирая слова:

– Видите ли, поездка одобрена руководящим советом Академии еще неделю назад... Предмет нашего сегодняшнего голосования – кандидатуры уважаемых сеньоров академиков, которые примут в ней участие.

– Тем не менее хочу подчеркнуть мое несогласие с этим безобразием. В мои руки попали статьи, посвященные трактовке понятий «Бог» и «Душа» и вызвавшие негодование теологов... Поверьте, сеньоры, чтение этих статей едва не стоило мне здоровья. Этот опус осквернит нашу библиотеку!

Вега де Селья смущенно озирается. Когда возникают вопросы, требующие публичного обсуждения, большинство академиков предпочитают отмалчиваться и ничем не выдают своих помыслов, словно обсуждаемая проблема не имеет к ним ни малейшего отношения. Уж они-то знают, в каком мире живут, и помощи от них не жди. К счастью, утешает себя директор, на прошлой неделе все удалось решить тайным голосованием: академики опустили в урну записки. Все прошло успешно. Если бы голосовали, поднимая руку, мало кто отважился бы себя скомпрометировать. Всего лишь пару лет назад некоторые из них, включая самого директора, оказались втянутыми в процесс, затеянный инквизицией из-за чтения книг чужеземных философов. И хотя официально доказать невозможно, все уверены, что доносчик – тот самый тип, который сейчас влез со своей речью.

– Обоснуйте ваше заявление, дон Мануэль. – Вега де Селья улыбается со сдержанной любезностью. – А сеньор секретарь, как обычно, фиксирует ваши слова письменно.

Игеруэла переходит к делу, он явно в ударе. Как и в своих статьях, он описывает душераздирающие картины апокалипсиса, к которому, по его мнению, непременно приведут опасные идеи, ставшие популярными в Европе; ураган свободомыслия и разгул атеизма отравляют покой мирных людей; отвратительное безбожие подрывает основы европейских королевских домов так же, как и главное орудие революции, все эти доктрины философов с их дерзким культом разума, отравляющим порядок естественный и оскорбляющим божественный: циник Вольтер, лицемер Руссо, извращенец Монтескье, нечестивцы Дидро и Д’Аламбер, а также многие другие, чьи недостойные помыслы переполняют эту так называемую «Энциклопедию», – французское слово он с подчеркнутым презрением произносит по-испански, – которой Испанская королевская академия собирается осквернить свою библиотеку.

– Вот почему я категорически против злосчастного приобретения, – подытоживает он. – А также против того, чтобы двое достойных членов Академии ехали за ним в Париж.

Наступает тишина, прерываемая лишь шорохом пера, царапающего бумагу, – чирк-чирк, чирк-чирк. Директор, как всегда невозмутимый, обводит взглядом собравшихся.

– Кто-нибудь из сеньоров желает что-либо добавить?

Чирканье пера прерывается, однако рта никто не открывает. Большинство взглядов рассеянно блуждает в пустоте, дожидаясь, когда минует буря и снова наступит штиль. Остальные присутствующие, настроенные консервативно, – это четверо членов Академии: двое из пяти священников-академиков, герцог дель Нуэво Экстремо, а также важный чиновник из Министерства финансов, – сочувственно кивают Игеруэле. И несмотря на то, что голосование в прошлый четверг было анонимным, директор Вега де Селья, как и любой из собравшихся, угадывает в них тех, кто вернул свои бюллетени пустыми: элегантная манера выразить несогласие в вопросах, которые решаются голосованием. На самом деле голосов, высказавшихся против «Энциклопедии», всего шесть, включая Игеруэлу. Директор абсолютно уверен, что шестой голос принадлежит, как ни странно, носителю взглядов, полностью противоположных радикальному издателю: это академик – фрак по последней английской и французской моде, узкие рукава, пышный галстук, туго стягивающий шею, волосы без пудры, однако аккуратно завитые и уложенные на висках, – который в эту секунду, и отнюдь не случайно, тянет руку с противоположной стороны стола.

– Итак, слово предоставляется сеньору Санчесу Террону. Все знают, что перед ними случай особенный. Хусто Санчес Террон известен всей Испании как просвещенный радикал. Уроженец Астурии, скромного происхождения, достигший всего, что имеет, усидчивой учебой и неустанным чте-

нием, он пользуется славой человека передовых идей. Будучи государственным служащим, он опубликовал скандальный доклад о больницах, тюрьмах и благотворительных заведениях – «Трактат о бедствиях народных», гласило его название, – давший обильную пищу для разговоров. С тех пор многие кофейни и тертулии Мадрида сделали местом литературно-философских дискуссий, которые он возглавлял; надо заметить, что именно слово «возглавлять» было в его случае ключевым. Разменяв пятый десяток, ослепленный успехом, утративший способность взглянуть на себя критически, Санчес Террон превратился в позера и педанта, самовлюбленного до самого омерзительного самодовольства, – из-за нравоучительного тона его писаний и выступлений его потихоньку называли Критик из Овьедо. И в заключение этот человек, добирающийся до новинок мысли и культуры с некоторым отставанием, частенько провозглашал то, что и так уж всем известно, и заявлял об этом с таким видом, словно именно ему мир обязан своим открытием. Поговаривают к тому же, что он готовит театральную пьесу, благодаря которой намерен навсегда закопать лежалые трупы национальной сцены. Что же касается современных авторов и философов, астуриец считает себя единственным связующим звеном между ними и отсталым испанским обществом, без зазрения совести объявляя себя светочем, предводителем и, разумеется, спасителем мира. В этой роли он не терпит вмешательства или конкуренции. Ни для кого не секрет, что вот

уже много лет он работает над обширным произведением под названием «Словарь истины», где большая часть статей и комментариев, якобы составленных им самим, откровенно заимствованы у французских энциклопедистов.

– Мои замечания также должны быть внесены в протокол. – Он самовлюбленно поправляет кружева, выглядывающие из-под манжет фрака. – Я имею в виду это несвоевременное посещение Парижа. Не думаю, чтобы наша ин-ституция была подходящим местом для этой «Энциклопедии». Очевидно, что Испании необходимо возрождение, однако возрождение должно прийти благодаря светилам местных интеллектуальных элит...

– К которым я принадлежу, – тихонько вторит ему кто-то из собравшихся.

Санчес Террон прерывает речь, гневным взором пытаюсь отыскать шутника; но все собравшиеся за столом по-прежнему невозмутимы и сидят с совершенно невинным видом.

– Продолжайте, дон Хусто, – требует директор, заминая неприятную ситуацию.

– Эти светочи разума и прогресса, – продолжает Санчес Террон, – наш Ученый дом не должен искать вдали от своей привычной среды. Хочу также заметить, что Испанская королевская академия призвана выпускать словари, грамматические и орфографические справочники, чтобы фиксировать, чистить и полировать испанский язык... И точка! А идеи просвещения, даже самые важные и своевременные, –

пусть остаются уделом философов. — Он обводит собравшихся вызывающим взглядом. — Философы, и только они, обязаны заниматься идеями.

Все догадываются, что под словом «философы» следует понимать «мы, философы». Как гласит популярная поговорка, «каждый сверчок знай свой шесток», а «Энциклопедию» предоставьте нам, ибо лишь мы знаем в ней толк и достойны ее штудировать. Едва Санчес Террон заканчивает речь, по столу пробегает несогласный шепоток; некоторые академики ерзают в своих креслах, отчетливо слышны колкости, слетающие с чьих-то уст. Тем не менее суровый взгляд директора позволяет сохранить мир и спокойствие.

— Слово предоставляется нашему библиотекарю дону Эрмохенесу Молине.

Упомянутый дон — небольшого роста толстячок с приятным лицом, в коричневом камзоле с вытертыми локтями, явно знававшем лучшие времена, — поднимает руку и, поблагодарив директора за любезность, напоминает коллегам причину приобретения библиотекой двадцати восьми томов, изданных в Париже при участии Дидро, Д’Аламбера и Бретона. Это творение, продолжает он взволнованно, даже учитывая некоторые его несовершенства, является самым блестящим воплощением достижений современной мысли: это монументальное собрание передовых знаний в области философии, науки, искусства и прочих дисциплин, которые нам известны или же с которыми нам еще только предстоит по-

знакомиться. Без сомнения, это одно из самых мудрых и отважных творений в истории, которые способны просветить своих читателей и распахнуть двери навстречу счастью, культуре и процветанию всего человечества.

– Было бы непростительной ошибкой, – подытоживает он, – не включить ее в число произведений, которые обогатят библиотеку во имя просвещения и радости сеньоров академиков, вдохновения наших трудов и гордости всего нашего Ученого дома.

Издатель Игеруэла снова поднимает руку. Взгляд его на сей раз прямо-таки испепеляет.

– Философия, природа, прогресс, земное счастье, – перечисляет он язвительно и небрежно, – это вовсе не те явления, которые нас обогащают, напротив, мы обязаны выявить их и предостеречь от них наивные умы, главным образом те, что отважились выступить против священных основ монархии или религии... Несмотря на различия наших убеждений и даже полную их противоположность, имею честь согласиться в этом вопросе с сеньором Санчесом Терроном. – Он улыбается, покосившись на упомянутого сеньора, который в ответ сухо кивает. – С точки зрения обеих, если так можно выразиться, крайностей, мы оба единогласно осуждаем неразумный замысел... И позволю себе напомнить сеньорам академикам, что, помимо всего прочего, данная «Энциклопедия» включена в «Индекс запрещенных книг», составленный святой инквизицией. Причем не только у нас, но

и во Франции.

Все взгляды устремляются в сторону Жозефа Онтивероса, поверенного архиепископства Толедо и постоянного секретаря Совета инквизиции: ему только что исполнился восемьдесят один год, это священник с белыми волосами, слабыми коленями и быстрым умом, который вот уже три десятилетия занимает пост, соответствующий литере «R». Он со снисходительной и великодушной улыбкой пожимает плечами. Несмотря на сан, Онтиверос – человек исключительно образованный и воспитанный, к тому же лишенный предубеждений. Лучшая версия Горация на испанском языке вышла сорок лет назад именно из-под его пера – «Фавн, о нимф преследователь пугливых!», – кроме того, все отлично знают, что великолепные переводы Катулла, изданные под псевдонимом Линарко Андронио, – также его работа.

– С моей стороны, *nihil obstat*⁶, – говорит клирик, вызывая у сидящих за столом улыбки.

– Хочу любезно напомнить дону Мануэлю Игеруэле, – продолжает директор со свойственным ему тактом, – что разрешение церковных властей на доставку «Энциклопедии» в Академию получено благодаря соответствующему посредничеству дона Жозефа Онтивероса... Безусловно, сделано это было из лучших побуждений. Святая инквизиция пришла к выводу, что сей труд, несмотря на то что допускать к нему людей недостаточно образованных было бы

⁶ Никаких препятствий (*лат.*).

неразумно, может быть изучен сеньорами академиками, не причинив вреда ни их душам, ни разуму... Не так ли, дон Жозеф?

– Именно, именно так, – подтверждает тот.

– В таком случае продолжим, – произносит директор, глядя на часы, висящие на стене. – Вы готовы, сеньор секретарь?

Палафокс перестает писать, поднимает глаза от протокола, поправляет очки на носу и обводит взглядом ассамблею.

– Переходим к голосованию. Наша задача – выбрать сеньоров академиков, которые могли бы съездить в Париж и вернуться обратно с «Энциклопедией», согласно решению, принятому нашим собранием, протокол коего я намерен зачитать вслух. Итак:

«Здесь, в Доме Казны, штаб-квартире данной институции, в соответствии с разрешением Нашего Сеньора Короля и церковных властей, собрание Испанской королевской академии большинством голосов принимает решение избрать из сеньоров академиков двух добрых людей, которые, будучи наделенными средствами и провизией, необходимыми для путешествия и проживания на чужбине, отправятся в город Париж, где приобретут полное собрание сочинений, известное под названием „Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers“, а затем доставят его в Академию, чтобы здесь, в стенах библиотеки, упомянутые книги были доступны для свободного ознакомления и штудий любого из членов

данной институции».

На краткий миг все смолкает, тишину нарушает лишь астматический кашель дряхлого дона Фелипе Эрмосильи – автора знаменитого «Каталога старинных испанских авторов». Академики удовлетворенно переглядываются, большинство из них принимает торжественный вид, осознавая важность происходящего; кое-кто мрачен или выражает явные признаки неудовольствия, однако последних единицы: двое наиболее консервативно настроенных церковников, герцог де Нуэво Экстремо и высший чиновник Кабинета финансов. Они мрачно взирают на Игеруэлу и Санчеса Террона, солидарные с их замечаниями, однако не желая усложнять себе жизнь открытым выражением недовольства.

– Еще возражения?.. Таковых не имеется? – спрашивает директор. – Тогда перейдем к голосованию. Как только что сообщил сеньор секретарь, мы должны выбрать среди наших коллег двоих наиболее достойных.

– Так и было сказано в протоколе, – подтвердил дон Грегорио Сальвадор, когда я явился к нему за помощью. – «Двоих наиболее достойных». Я в этом уверен, потому что сам держал его в руках много лет назад.

За его спиной в балконном окне виднелись здания улицы Маласанья. Старый профессор и академик – восьмидесятилетний лингвист и декан, действительный член Испанской королевской академии – сидел на диване в библиотеке сво-

его дома. На столике передо мной стояла чашка кофе, который только что подала одна из его внучек.

– Значит, протокол заседания все-таки сохранился? – спросил я.

Профессор энергично покачал головой. Это была голова благородной лепки, поистине патрицианская, к тому же не соответствующая возрасту: все еще густые седые волосы, смеющиеся глаза, недавняя операция по удалению катаракты вынудила его читать в очках, однако в остальном не слишком омрачала существование. Дон Грегорио Сальвадор вот уже тридцать лет неизменно присутствовал на собраниях Академии, не пропустив ни единого четверга. Это был человек исключительной ясности ума, и, что еще важнее, он знал наизусть все исторические анекдоты и старинные, давно утратившие свою значимость истории. Соавтор «Лингвистического и этнографического атласа Андалусии», который представлял собой кропотливый монументальный труд, он был единственным членом Академии, к которому почти все мы обращались на «вы», даже вне заседаний, традиционно заносящихся в протокол.

– Конечно, – отозвался он. – Все протоколы в целостности и сохранности. Проблема в том, что они не оцифрованы и найти нужный не так-то просто. Представьте себе, ведь это записи заседаний, которые проводились каждый четверг в продолжение целых трехсот лет! Чтобы что-то отыскать, пришлось бы терпеливо перебирать груды бумаги.

– Можно хотя бы узнать год?

Мгновение он размышлял, поигрывая эбонитовой тростью с серебряным набалдашником. Другую руку он держал в кармане куртки из серой антилопьей кожи, накинутаой поверх рубашки с галстуком, заправленной в брюки из темной фланели. Его явно не новые туфли были тщательно начищены и блестели. Дон Грегорио Сальвадор был человеком чрезвычайно щепетильным. Можно даже сказать, безупречным.

– Думаю, где-то уже после тысяча семьсот восьмидесятого. Когда я работал с нашим экземпляром «Дон Кихота» Ибарры, который вышел как раз в этом году, мне в руки попал протокол заседания Академии, и в нем упоминался роман, а значит, его к тому времени уже опубликовали.

– И путешествие двоих членов академии там тоже упоминается?

– Разумеется. Они должны были отправиться в Париж, чтобы добыть полное собрание. И не все коллеги одобрили их миссию. Вот и вышло что-то вроде ссоры.

– Что же это была за ссора?

Он достал руку из кармана – рука была худая, жилистая, изувеченная артрозом – и сделал неопределенное движение в воздухе.

– Трудно сказать. Как я уже упомянул, в содержание протокола я не вникал. Все это показалось мне занятым, я собирался вернуться к этой теме, но в конце концов меня отвлекли какие-то неотложные дела.

Я поднес к губам чашку кофе.

– Все это выглядит странно, не так ли? Ведь энциклопедия была запрещена в Испании. А у них все так запросто получилось.

– Не думаю, что здесь уместно слово «запросто». Полагаю, путешествие в Париж было полно злоключений... С другой стороны, Академия была особенным заведением, собравшим внутри себя интереснейших людей. – В этот миг старый академик улыбнулся. – Людей самых разных.

– И хороших, и плохих – вы это имеете в виду?

Дон Грегорио улыбнулся шире. Несколько секунд он молча рассматривал рукоятку своей трости.

– Можно и так сказать, – ответил он наконец. – В том случае, если вам точно известно, какая сторона придерживается правильных убеждений, а какая – нет... Но разница между ними, конечно же, была. В Испании всяких людей хватало – и в те времена, и в любые другие. А в ту пору разногласия, которые чуть позже стали для нашей истории роковыми, постепенно приобретали четкие очертания: группа людей, преисполненных искренним энтузиазмом и вдохновением, верой в прогресс и образование, убежденных в том, что сделать человечество счастливым можно только с помощью просвещения... И другая группа, закосневшая в мракобесии и невежестве, в безразличии к современности и культуре, упорствующая в ненависти ко всему новому. Следует также учитывать всех колеблющихся, всех приспособленцев,

которых обстоятельства вынудили примкнуть к порядочным людям из обоих лагерей... В те времена в стенах Академии, так же как и вне их, сплетались волокна веревки, с помощью которой нам, испанцам, в продолжение двух последующих столетий предстояло душить друг друга.

Он посмотрел на меня внимательно. Даже, можно сказать, заинтересованно. Возможно, он думал о пользе, которую я смогу извлечь для своих книг из его рассказа. В конце концов, он сам решил мне помочь.

– Вы знакомы с этой эпохой? – спросил он.

– Более-менее.

– Писатель Хулиан Мариас, некогда наш с вами коллега по Академии, отец Хавьера, много писал о ней. У него есть сборник: «Облик Испании во времена правления Карла Третьего»... Я плохо помню, но, возможно, в нем упомянуто, как именно Академия получила «Энциклопедию»... Он, между прочим, тоже по-своему страдал от преследований и доносов, когда закончилась гражданская война.

Он снова улыбнулся, на этот раз отстраненно. Может быть, погрузился в прошлое. Его ранние воспоминания – старый академик родился в 1927 году – хранили картины наших самых разнообразных, ни с чем не сравнимых герник.

– У Испании несчастливая история, – задумчиво произнес он.

– Неужели чью-то историю можно назвать счастливой?

– Тоже верно, – заметил он. – Но нам как-то особенно не

везло. Восемнадцатый век был ярким примером упущенных возможностей: читающие военные, моряки-ученые, просвещенные министры... Полным ходом шло обновление, постепенно побеждавшее самые реакционные очаги церкви и общества, в которых, как огромный черный паук, затаилось мракобесие. Старушку Европу сотрясали новые идеи...

Произнеся эти слова, дон Грегорио неспешно осмотрел стеллажи, уставленные книгами, – они виднелись повсюду, стопки книг стояли не только на полках, но везде, где можно, даже на полу, – а я следил за его взглядом.

– И не случайно, – добавил он мгновение спустя, – поездка академиков в Париж совпала с царствованием Карла Третьего. Тот период был эпохой надежды. Часть клира, пусть и меньшинство, состояла из людей образованных, носителей передовых идей. Встречались благородные люди, которые старались быть сторонниками просвещения и, таким образом, навсегда оставить в прошлом века безнадёжного мрака. Испанская королевская академия, – продолжал он, – считала своим долгом внести свой вклад в эти преобразования. Если есть замечательное произведение, которое благодатно влияет на Европу, заявили они, почему бы не доставить его сюда и не изучить как следует? Достаточно того, что каждое определение нашего «Толкового словаря», по-своему великолепное, окрашено сильнейшим христианоцентризмом, Бог присутствует всюду, даже в наречиях, нисколько не мешая разуму, науке и прогрессу... Испанский язык должен

быть не только благородным, красивым и звучным, но еще и просвещенным, мудрым, философским!

– Революционный подход, не так ли?

– Безусловно. В большинстве своем академики были весьма проникательны, к тому же в высшей степени нравственны. Обратите внимание на удивительные определения, которые они по мере сил вносили в «Толковый словарь испанского языка»... В конце века большинство из них были убежденными католиками, а некоторые даже священниками; однако все они единодушно приняли решение совмещать свои религиозные убеждения с новыми идеями. Они верили, что, scrupulezno описывая и фиксируя испанский язык, делая его удобнее и рациональнее, они меняют Испанию.

– Но этим все и кончилось.

Дон Грегорио приподнял трость, выражая несогласие.

– Не все, – возразил он. – Но шанс действительно был упущен. У нас так и не случилось того, что произошло во Франции: революции, которая бы перевернула вверх дном весь привычный порядок... Вольтер, Руссо, Дидро, философы, благодаря которым появилась «Энциклопедия», оставались вне ее границ или же проникали внутрь с величайшим трудом. Их наследие сначала подвергалось жестоким репрессиям, а затем утонуло в крови.

Я допивал остатки кофе. Мы сидели молча. Старик-академик снова посмотрел на меня с любопытством.

– Однако, – произнес он в следующее мгновение, – исто-

рия двадцати восьми томов, которые хранятся в нашей библиотеке, поистине уникальна... Вы действительно хотите написать об этом?

Он кивнул на книги, окружавшие нас со всех сторон, будто бы в них был спрятан ключ ко всей истории.

– А почему бы и нет? Но только в том случае, если мне удастся выяснить еще что-нибудь об этом деле.

Он удовлетворенно улыбнулся. Кажется, моя идея пришла ему по душе.

– Я был бы очень рад, потому что это достойный эпизод в истории нашей Академии. Нельзя забывать, что даже в самые мрачные времена всегда находились добрые люди, которые боролись за то, чтобы принести своим соотечественникам свет и прогресс... Однако были и такие, кто делал все возможное, чтобы им помешать.

Они поднялись со своих мест, как обычно, ровно в половине девятого и простились до следующего четверга. Зима агонизирует, однако ночь выдалась ясная и безмятежная, и между крыш виднеются звезды. Хусто Санчес Террон неторопливо шагает в сторону улицы Майор, как вдруг за его спиной слышится цокот конских копыт. Фонарь Дома Королевских Советов отбрасывает под ноги академика тень приближающегося экипажа. Экипаж настигает академика, изнутри его окликает чей-то голос. Извозчик натягивает повод, экипаж останавливается, и в окне показывается съехавший

набок парик Мануэля Игеруэлы, обрамляющий его круглую, не слишком приятную физиономию.

– Садитесь, дон Хусто. Подвезу вас до дома.

Санчес Террон отказывается с презрительным высокомерием, которого даже не пытается скрыть. Он не большой любитель раскатывать по Мадриду в экипаже, говорит его гримаса, а уж тем более в обществе издателя и литератора, который распространяет мракобесие. Даже если речь идет о плохо освещенных улицах, где почти нет пешеходов, которые могли бы увидеть, как он нарушает свои суровые принципы.

– Как вам угодно, – замечает Игеруэла. – В таком случае я готов сопровождать вас пешком.

Издатель выходит из экипажа. На нем испанский плащ, шляпу он держит в руке – он редко ее надевает, поскольку мешает парик. Игеруэла отпускает возницу и как ни в чем не бывало пристраивается к Санчесу Террону. Тот шагает, сунув руки в карманы плаща, голова не покрыта, подбородок опущен на грудь. Его походка выражает значительность. Именно так выглядит он обычно во время прогулки: задумчив, самоуглублен, непроницаем. Весь его вид выдает глубокую сосредоточенность на философских размышлениях, даже когда он смотрит себе под ноги, стараясь не наступить в собачьи какашки.

– Надо остановить это безобразие, – обращается к нему Игеруэла.

Санчес Террон отвечает на его слова глубокомысленным

молчанием. Он отлично понимает, что имеется в виду под словом «безобразие». На последнем голосовании – на этот раз двенадцать одобрительных голосов против шести пустых бюллетеней – среди последних был и его листок – ответственными за доставку «Энциклопедии» из Парижа в библиотеку были назначены дон Эрмохенес Молина и отставной командир бригады морских пехотинцев дон Педро Сарате, которого все члены Академии зовут адмиралом и который занимает место, традиционно принадлежащее офицеру армии или Королевской армады, имеющему какое-либо отношение к гуманитарным наукам.

– Мы с вами, дон Хусто, во многом расходимся, – продолжает Игеруэла. – Однако в этом вопросе наши обычно противоположные взгляды совпадают. Для меня, патриота и католика, это творение так называемых французских философов является опасным и тлетворным... А вам, глубокому мыслителю, сознающему всю незрелость наивного испанского общества, очевидно, что подобное чтиво здесь и сейчас является совершенно излишним.

– Скорее преждевременным, – поправляет его собеседник тоном сухим и желчным.

– Пусть так. Преждевременным, неуместным... Называйте как хотите. На то мы и академики, чтобы всякому явлению подбирать точное определение. Дело в том, что, и с вашей точки зрения, и с моей, Испания не готова к тому, чтобы эта гнусная «Энциклопедия» переходила из рук в руки...

Вы полагаете – прошу прощения за то, что осмелился проникнуть в ваши мысли, – что идеи Дидро и его соратников, даже если они совпадают с вашими, слишком опасны, чтобы предложить их широкой публике.

Выслушав эти слова, Санчес Террон смотрит надменно, с олимпийским презрением.

– Опасны, вы говорите?

Несмотря на тон собеседника, Игеруэла не дает себя запугать.

– Именно это я и говорю: опасны и абсурдны. Чего стоит одна эта теория происхождения человека из рыб и морских гадов... Какая нелепость!

– Нелепо выражать свое мнение о том, чего не знаешь.

– Оставьте эту чепуху и перейдем к делу. Прежде всего необходимы посредники, образованные проводники, которые помогут сориентироваться в этом гигантском и сложном творении. – Игеруэла бросает на Санчеса Террона двусмысленный взгляд, полный коварства и лести. – Люди, подобные вам, чтобы далеко не ходить за примером... В Испании виноградины энциклопедического знания еще слишком зелены, чтобы давить из них вино... Я не ошибаюсь?

Улицы в этот час почти пустынные. Пуэрта-де-Гуадалахара погружена в сумерки, палатки ювелирных лавок убраны, витрины и окна замкнуты деревянными ставнями. Кошки бесшумно шмыгают среди мусорных куч, ожидающих возле порталов повозку мусорщика.

– Это Испания, дон Хусто. В наше время, прости господи, в кого ни плюнь – все философы. Даже некоторые знакомые мне дамы чванятся, упоминая Ньютона или цитируя Декарта, а на их ночных столиках красуется Бюффон, хотя они всего лишь рассматривают картинки... Дело кончится тем, что все мы запляшем контрданс по-парижски, причесанные, как тамошние мыслители, и напудренные, что твоя мельничная мышь.

– Да, но при чем тут «Энциклопедия» и Академия?

– Вы же проголосовали против нее и против путешествия.

– Позвольте напомнить, что голосование было тайным. Не понимаю, как вы осмелились...

– Еще бы, конечно же это секрет. Но мы в Академии все знаем друг друга как облупленных.

– До чего дикий разговор, дон Мануэль!

– Позвольте не согласиться... К тому же все это касается вас в той же степени, что и меня.

Звонит колокол. Из церквушки Сан-Хинес выходят священник и служка с елеем и святыми дарами, направляясь в дом к умирающему. Оба академика замедляют шаг: Игеруэла крестится, преклонив голову, Санчес Террон поглядывает осуждающе и презрительно.

– Мое мнение вам известно, – говорит издатель, когда они продолжают путь. – Будь проклято неразумное любопытство, с которым все ожидают этот презренный сосуд бесчестия и безнравственности, оскорбляющий все истинное и

достойное... Эту волну, которая захлестнет трон и алтарь, заменив их культом таких вещей, как природа и разум, кои мало кто понимает... Представляете, какими смутами и революциями чреваты эти идеи, если попадут в руки какому-нибудь мальчишке на побегушках, студенту-первокурснику или посыльному из аптеки?

– Вы, как всегда, передергиваете, – сухо возражает Санчес Террон. – Или преувеличиваете. Не стоит путать меня с вашими неотесанными читателями. Академия приобретет «Энциклопедию» исключительно для пользования самих академиков. Никто не станет передавать ее в распоряжение людей недостойных.

Игеруэла улыбается с едва заметной издевкой:

– Академиков? Сейчас не лучшее время для шуток, дон Хусто. Вы всех их отлично знаете и презираете не меньше моего: в большинстве своем это бездарные писаки и доморощенные эрудиты, которые больше всего на свете любят погреться у камелька. Библиотечные крысы, безразличные к величайшим дерзновениям нашего времени... А многие из них, ко всему прочему, еще и до крайности наивны, несмотря на преклонный возраст. Найдется ли среди них тот, кто способен проглотить Вольтера или Руссо и не поперхнуться? Какие последствия повлечет за собой эта воспламеняющая смесь в неумелых руках, вне контроля почтенных мыслителей, подобных, например, вам?

Последние слова пролились на душу Санчеса Террона жи-

вотворящим бальзамом. Возразить нечего, и в ответ он только задумчиво хмурится. Тщеславие надежно уберегает его от бессовестного коварства Игеруэлы. Литератор по-прежнему шагает медленно, он мрачен и суров, руки его погружены в карманы плаща, подбородок опущен на грудь – чистейший образ прямолинейности и неподкупности. Издатель тем временем красноречиво размахивает руками, твердо решив использовать любую приманку и не упускать добычу. А убеждать он умеет.

– Достоянейший труд во благо испанского языка, вот в чем состоит наша цель, – продолжает он. – Вдумайтесь только: Сервантес, Кеведо, «Орфография», «Толковый словарь» и прочие труды Академии... Все, абсолютно все достойно наивысших похвал. Филантропия, патриотизм в высшем смысле этого слова... Но соваться в дебри современной философии – на мой взгляд, все равно что рубить сук, на котором сидишь. Вы со мной согласны?

– В каком-то смысле, – осторожно кивает собеседник.

Игеруэла удовлетворенно хихикает: он на верном пути.

– Все это не является компетенцией Ученого дома, – добавляет он, беря быка за рога. – Всему есть свои границы: сластолюбию, свободомыслию, а также человеческой гордыне. Эти границы – монархия, католическая церковь и ее неоспоримые догмы...

В этот миг Санчес Террон перебивает его, вздрогнув так, будто увидел змею.

– Опять вы про то, что презренным безбожникам место в тюрьме? Старая песня, дорогой мой. Я имею в виду вас и вашу шарманку. Дряхлые старикашки, зануды в париках, надвинутых до бровей, с длинными ногтями и в рубашках, которые меняют раз в две недели. Хватит, довольно!

Издатель благоразумно умирят свой пыл. Впредь он будет вести себя осмотрительнее.

– Простите, дон Хусто. Я не собирался ни обижать вас, ни спорить с вами... Ваши взгляды мне известны, и я их уважаю.

Но Критик из Овьедо завелся не на шутку:

– Да вы мать родную не уважаете, дон Мануэль... Вы настоящий фанатик, и все, что вам нужно, – побольше хвороста, чтобы спалить всех еретиков, как сотню лет назад... Вам нужны кандалы и трибуналы, и чтобы к каждому был приставлен духовник. Ваша газетенка...

– Забудьте о ней, в самом деле! Сегодня с вами говорит не воинственный издатель, а друг.

– Друг? Что за ерунду вы несете! Вы меня за дурака принимаете?

Они остановились возле паперти Сан-Фелипе, такой оживленной днем и пустынной в этот поздний час. Напротив виднеются запертые книжные лавки Кастильо, Корреа и Фернандеса. На каменных ступенях и в порталах магазинов спят нищие, прикрытые темным тряпьем.

– Я сражаюсь с врагами человечества, даже когда мне при-

ходится заниматься этим в одиночку, – провозглашает Санчес Террон, указывая на запертые двери книжных лавок, словно призывая их в свидетели. – Единственные мои союзники – разум и прогресс. Мои идеи не имеют ничего общего с вашими!

– Согласен, – кивает его собеседник. – Я нападал на них – и в публичных выступлениях, и письменно, я это признаю. Случалось, и не раз.

– Кто бы спорил! В вашем последнем номере, не упоминая непосредственно меня...

– Послушайте! – Издатель решает идти напрямик. – То, что вот-вот произойдет, настолько серьезно, что я готов временно разделить ваши идеи, дон Хусто. В интересах, так сказать, общего дела. И прежде всего – ради достоинства Испанской королевской академии.

– Достоинство – не главная характеристика вашей писанины, дон Мануэль. Позвольте мне быть с вами откровенным.

Игеруэла вновь скептически улыбается:

– Сегодня я готов позволить вам все. Но, по правде сказать, мне кажется, что вам не чуждо некоторое фарисейство.

Санчес Террон резко поднимает глаза, он взбешен:

– Разговор окончен. Доброй ночи.

Литератор поспешно шагает, стремительно удаляясь. Однако Игеруэла и не думает отставать: он догоняет его и без лишних слов спокойно пристраивается рядом. Издатель дает ему возможность переменить свое мнение. В конце концов

Санчес Террон сбавляет шаг, останавливается и смотрит на него.

– Ну и что вы предлагаете?

– Думаю, вы не хотите, чтобы идеи, изложенные в «Энциклопедии», превращались в балаган. Чтобы они ходили по рукам свободно и без ограничений. Коротко говоря, без вашего участия как посредника. Ваш «Словарь истины», например...

Уязвленный собеседник смотрит на него пристально, его взгляд высокомерен.

– При чем тут мой «Словарь»?

На устах Игеруэлы появляется волчья улыбка. Вот теперь он в своей стихии. Ему отлично известно, что Санчес Террон без зазрения совести обкрадывает философов, живущих по ту сторону Пиренеев.

– Не сомневаюсь, что это произведение единственное в своем роде. И, что немаловажно, оно испанское. К чему нам, испанцам, измышления презренных французишек? Даже с такими вещами, как «атеизм» и «заблуждение», мы отлично справимся сами... Не так ли?

В его голосе снова звучат ироничные нотки, но они не в силах поколебать каменное тщеславие философа.

– Что вы хотите сказать? – отзывается он.

Игеруэла непринужденно пожимает плечами:

– Предлагаю вам оливковую ветвь.

Санчес Террон смотрит на него растерянno, он скорее

удивлен, чем рассержен.

– Вы хотите сказать, что у нас с вами может быть что-то общее?

Издатель показывает ему свои руки, повернутые ладонями вверх: он намекает, что ничего в них не прячет.

– Дорогой коллега, я предлагаю вам перемирие. Временный и плодотворный союз двух противоположностей.

– Ничего не понимаю. Можете объяснить поточнее?

– Эти двадцать восемь томов не должны появиться в Испании, вот что. И не должны пересечь границу. Мы обязаны сделать все возможное, чтобы никакого путешествия не было.

Санчес Террон несколько секунд смотрит на него молча, нахмурившись.

– Не представляю, как это устроить. – В его голосе звучит сомнение. – Академия уже уполномочила библиотекаря и адмирала. Они говорят по-французски, серьезны, исполнительны. Оба – добрые люди, как гласит протокол. Люди достойные, честные. Ничто не помешает им...

– Вы ошибаетесь. Я вижу множество возможных препятствий. И множество сложностей.

– Например?

– Это долгое путешествие, – отвечает Игеруэла с двусмысленной ухмылкой. – Чего только не встречается на пути: границы, таможни. А сколько всяких опасностей! И тут эта «Энциклопедия», осужденная церковью, отвергнутая мно-

жеством европейских королевских домов, официально запрещенная во Франции. Издатели продают ее тайно, подпольно.

– Ну и что? – перебивает его собеседник.

– Вам, дон Хусто, отлично известны споры и разговоры, которые ходили вокруг этого произведения в Испании. Начальная позиция святой инквизиции и Государственного совета, вмешательство его величества короля, который, поддавшись дурным влияниям, одобрил эту идею...

– Что вам нужно? – Санчес Террон теряет терпение.

Собеседник невозмутимо выдерживает его взгляд.

– Ваша помощь для того, чтобы это путешествие не состоялось.

– И что от меня требуется?

– Видите ли, если за это предприятие возьмусь я один, все решат, что это дело рук ретроградов. Но, если в игру вступите вы, дело приобретет иной оборот. Мы сможем задействовать силы и ресурсы... Вы состоите в переписке с философами и французскими продавцами книг. Все это люди передовых идей. У вас друзья в Париже.

– Щипцы, вы хотите сказать?.. С одной стороны, вы, с другой – я?

– Отличное сравнение. Щелкнем это дельце вместе!

Они почти уже вышли – высокомерие под ручку с подлостью – к Пуэрта-дель-Соль, оживленной даже в этот час. Дилижанс останавливается на углу улицы Постас напротив па-

латок с витринами, задернутыми холстом. На площади, залитой красноватым светом фонарей, виднеются пешеходы, сопровождаемые носильщиками со свертками и чемоданами. Кучка зевак толпится возле здания Каса-де-Корреос, куда в это время приносят отпечатанные листки с новостями о войне с Англией и осаде Гибралтара.

– Есть у меня кое-кто на примете, – добавляет Игеруэла. – Этот субъект отлично подойдет для нашего дела. Расскажу о нем подробнее, если вы готовы сотрудничать. Достаточно сказать, что он свободно перемещается между Испанией и Францией и ему уже приходилось выполнять деликатные поручения, к полному удовлетворению своих нанимателей.

– Разумеется, за деньги.

– А с чего бы он иначе старался? Опыт, дорогой дон Хусто, показывает, что нет более верного союзника, чем тот, кому хорошо заплатили. Никогда не доверял энтузиастам или добровольцам, которые охотно берутся за то и за се, побуждаемые голосом совести или обычным капризом, а едва ослабевают порыв, улепетывают так, что только пятки сверкают. Зато человек нанятый – не важно, что у него за идеи, – будет вам предан до конца. Этот парень как раз из таких.

– Вы же не имеете в виду, что наши уважаемые коллеги...

– Конечно нет! Как вы могли такое подумать... За кого вы меня принимаете?

Они пересекают Пуэрта-дель-Соль, приближаясь к кон-

ным экипажам, стоящим у въезда в Карретас. Санчес Террон проживает в двух шагах отсюда, возле трактира «Пресьядос». Игеруэла делает знак извозчику, и тот зажигает на экипаже фонарь.

– Никто не собирается обижать наших дорогих библиотекаря и адмирала, – уверяет издатель. – Речь идет лишь о том, чтобы им помешать. Их задача должна усложниться настолько, что они вернутся с пустыми руками... Что вы на это скажете?

– В любом случае все нужно тщательно продумать, – осторожно отвечает Санчес Террон. – Кстати, кто он, этот ваш тип?

– О, это интереснейший экземпляр, и не сомневайтесь. У него есть даже своеобразный кодекс чести. Его зовут Рапосо... Паскуаль Рапосо.

– Вы говорите, он толковый?

Нога Игеруэлы уже касается подножки экипажа. Он подносит руку к голове, чтобы поправить парик, и в лучах масляного фонаря его гнусная улыбка выглядит сусальной.

– Толковый и очень опасный, – подтверждает он. – Как и его фамилия⁷.

Знакомство с протоколами заседаний оказалось делом непростым. Они хранились за семью печатями в архиве Академии, и Лола Пеман, архивариус, утверждала, что подоб-

⁷ Рапосо – лисица (*исп.*).

ная разновидность церберов идеально подходит для тех, кто стремится уберечь бумаги от желающих с ними ознакомиться. Однако в конце концов, оставив позади обычную бюрократическую волокиту, я получил доступ к оригиналам XVIII века.

– Осторожнее переворачивайте страницы. – Архивариус Лола восприняла мое вторжение как вызов. – Бумага в плохом состоянии, очень хрупкая. Можете случайно повредить.

– Не беспокойтесь, Лола.

– Так все говорят... А потом сами знаете, что бывает.

Я пристроился возле одного из библиотечных окон, где располагались ниши со столиками, за которыми обычно работали академики, получившие доступ в архив. Поистине, это была величайшая минута! Подробности каждого заседания, проходившего по четвергам, были изложены одна за другой в тяжелых томах с добротным кожаным переплетом: ясный, чистый почерк, почти как у настоящего писаря, который в один прекрасный день менялся: должно быть, один секретарь умирал и на его место заступал следующий. Почерк секретаря Палафокса был аккуратный, выразительный, легко читаемый: *Все члены Академии, собранные в штаб-квартире последней, а именно, в доме, расположенном на улице Казны...*

К моему разочарованию, протоколы не отличались излишней скрупулезностью. В те времена, несмотря на просветительскую политику правительства Карла Третьего, ин-

квизиция все еще сохраняла могучую власть и благоразумные академики – даже в содержании протоколов угадывалась умелая рука секретаря Палафокса – по возможности старались оставлять на бумаге как можно меньше улик. Я обнаружил лишь самое первое упоминание, где обсуждалось, каким образом приобрести полное собрание «Энциклопедии» – *Члены Испанской королевской академии большинством голосов одобряют...* – а также вторую запись, где перечислялись имена академиков, избранных для путешествия: *Поскольку некоторое время назад стало известно, что в продаже имеется полное собрание французской «Энциклопедии», Академия решила приобрести оное собрание в оригинальном издании, для чего уполномочивает сеньоров Молину и Сарате доставить его из Парижа.*

Этого было вполне достаточно, чтобы начать распутывать нити дела. В документальной книге «Члены Испанской академии» Антонио Колино и Элисео Альвареса-Аренаса я сумел отыскать биографии уполномоченных, однако о поездке в Париж не было сказано ни слова. Первым из них был библиотекарь дон Эрмохенес Молина, выдающийся преподаватель и переводчик классиков, которому в то время было шестьдесят три года. О другом мне стало известно только то, что он отставной командир бригады морских пехотинцев по имени дон Педро Сарате, прозванный друзьями адмиралом, специалист по морской терминологии и автор подробного словаря на эту тему.

Получив основные данные, я начал потихоньку продвигаться дальше: библиографические справочники, «Эспаса», Интернет, библиографии. За несколько дней мне удалось довольно правдоподобно сложить одно к другому все, что только можно было узнать о жизни этих двух персонажей. Признаться, получилось не слишком много. Оба представляли собой скромных, почтенных сеньоров. Две не слишком яркие жизни: первая, посвященная переводу и преподаванию; и вторая, протекавшая в мирной гавани, где можно было обстоятельно изучать мореходное искусство, и удостоенная в конце концов чина академика. Единственная боевая операция бригадира Сарате, о которой достоверно известно, имела место в молодости, когда он принял участие в крупном морском сражении с британской эскадрой в 1744 году. Ничего из того, что мне удалось разузнать про одного и про другого, не противоречило словам, записанным в книге протоколов секретарем Палафоксом: *два хороших человека.*

Деревянный пол поскрипывает, когда вслед за десерта-ми слуга приносит поднос с дымящимся кофейником, водой и бутылкой ликера, а также курительные принадлежности. Предупредительный Вега де Селья, директор Испанской королевской академии, ухаживает за своими сотрапезниками лично: чашка, наполненная доверху, и рюмка черешневого ликера – библиотекарю дону Эрмохенесу Молине; мускатель на самом донышке рюмки – адмиралу Сарате, чей аскетиче-

ский нрав – он едва притронулся к молодому барашку и вину из Медина-де-Кампо – известен членам Ученого дома. Все трое сидят вокруг стола в отдельном кабинете трактира «Золотой фонтан». Через открытое окно виден поток экипажей и толпы людей, которые в обоих направлениях движутся по улице Сан-Херонимо.

– Настоящая авантюра, – говорит Вега де Селья. – Не хочу преувеличивать, но благодаря ей вы удостоитесь признательности всех коллег по Академии... Вот почему я решил отблагодарить вас, пригласив на этот обед.

– Не знаю, справимся ли мы с возложенным на нас долгом, – отвечает библиотекарь.

Вега де Селья несколько суетливо машет рукой – он абсолютно во всем уверен и чрезвычайно взволнован.

– Я нисколько в этом не сомневаюсь, – восклицает он с воодушевлением. – И вы, дон Эрмохенес, и сеньор адмирал – люди незаурядные, вы обязательно справитесь... Я в этом совершенно уверен!

Произнеся эти слова, он наклоняется над столом и подносит кончик своей гаванской сигары к огоньку зажженной свечи, которую слуга принес вместе с курительными принадлежностями.

– У меня нет ни малейших сомнений, – повторяет директор, откинувшись на спинку кресла. Его улыбающийся рот выпускает голубоватое облачко дыма.

Дон Эрмохенес Молина, библиотекарь Академии – близ-

кие друзья обычно называют его дон Эрмес, – вежливо соглашается, однако заметно, что он не слишком уверен. Это толстенький добродушный человечек небольшого роста, овдовевший пять лет назад. Блестящий латинист, преподаватель классических языков. Его перевод «Параллельных жизней» Плутарха прочно занял свое место среди лучших литературных произведений Испании. Он явно пренебрегает своим внешним видом – камзол, затертый на локтях, покрыт пятнами шоколада, а лацканы кафтана усыпаны табачными крошками, – однако добрый нрав с избытком компенсирует все эти недостатки, и друзья его любят. Будучи библиотекарем, он позволяет им пользоваться редкими экземплярами, которые принадлежат ему лично, и даже приобретает за свои деньги нужные книги в букинистической лавке, не требуя возмещения расходов. В отличие от директора и других членов Академии дон Эрмохенес не носит парика и не пудрит волосы неровно подстриженные, но все еще темные, лишь кое-где тронутые сединой. Его густая борода – вероятно, ее пришлось бы брить дважды в день, чтобы вид был ухоженный, – делает лицо несколько мрачным, и только добродушные карие глаза, утомленные возрастом и бесконечным чтением книг, созерцают мир с лукавой искоркой и с неподдельным удивлением.

- Мы сделаем все, что в наших силах, сеньор директор.
- Не сомневаюсь, друг мой, нисколько не сомневаюсь.
- Я очень рассчитываю на нашего коллегу сеньора адми-

рала, — добавляет библиотекарь. — Он бывалый человек, много путешествовал. К тому же отлично говорит по-французски.

Тот, о ком идет речь, едва заметно кланяется — в кресле он сидит, как обычно, выпрямив спину, суровый и несколько чопорный, манжеты камзола касаются края стола, черный фрак безупречен, широченный шелковый галстук стянут аккуратным узлом, который словно бы заставляет адмирала еще прямее держать голову. Бросается в глаза контрастное сочетание этого вышколенного, подтянутого человека с добродушной неряшливостью библиотекаря.

— Вы тоже говорите по-французски, дон Эрмохенес, — сухо возражает он.

Смиренный библиотекарь отрицательно качает головой, а Вега де Селья, окруженный колечками дыма, бросает на адмирала пронизательный взгляд. Он уважает старого моряка, однако, как и большинство академиков, предпочитает в общении с ним соблюдать некоторую дистанцию. Недаром за Педро Сарате-и-Керальто водится слава человека нелюдимого и эксцентричного. Отставной командир бригады морских пехотинцев, автор подробнейшего «Морского словаря», адмирал — высокий, худой человек все еще в отличной форме, с меланхоличным выражением лица и строгим, почти суровым образом жизни. У него умеренно длинные серые волосы, кое-где начавшие редеть, собранные на затылке в небольшой хвост, перевязанный лентой из тафты. Самая заметная

черта его облика – светло-голубые глаза, водянистые и прозрачные, которые имеют обыкновение смотреть на собеседника с прямою, иной раз тревожащей, почти неприятной для тех, кто рискнет выдерживать их взгляд слишком долго.

– Это не одно и то же, – протестует дон Эрмохенес. – Я силен главным образом в теории. Тексты, переводы, всякое такое. Латынь высосала всю мою жизнь, для других дисциплин попросту не осталось места.

– Зато вы бегло читаете Монтеня и Мольера, сеньор библиотекарь, – говорит Вега де Селья. – Почти так же хорошо, как Цезаря или Тацита.

– Одно дело – читать, другое – непринужденно беседовать на чужом языке, – робко возражает библиотекарь. – В отличие от меня дон Педро достаточно практиковался в этом деле: когда он плавал с французской эскадрой, у него была возможность как следует наговориться по-французски... И конечно, это была одна из причин, по которой его выбрали для поездки. Но я совершенно не понимаю, почему выбрали меня.

На лице директора появляется безупречно вежливая улыбка, чуть опечаленная из-за того, что приходится объяснять столь очевидные вещи.

– Потому что вы порядочный человек, дон Эрмохенес, – наконец отвечает он. – Мудрый, всеми любимый, заслуженный библиотекарь нашего Ученого дома. Человек, которому можно доверять, как и нашему сеньору адмиралу. Коллеги

не ошиблись, возложив на вас свое доверие... У вас уже назначена дата отъезда?

Несколько напряженных секунд он переводит взгляд с одного на другого, каждого достаивая равным количеством внимания с заботливой любезностью воспитанного человека. Эта незначительная особенность поведения, в которой деликатность Веги де Сельи проявляется самым естественным образом, стала причиной того, что его величество Карл Третий сделал его своей правой рукой в вопросах чистоты, фиксации и тщательной шлифовки кастильского языка, который называют также испанским. Поговаривают, что грудь директора вот-вот украсит орден Золотого Руна, которым его наградят за бесценные услуги.

— Организацию путешествия я доверяю моему спутнику, — поясняет библиотекарь. — Он военный, а значит, хороший стратег. К тому же никогда не теряет присутствия духа. Для меня все это сложновато.

Директор поворачивается к дону Педро Сарате:

— А вы что думаете по этому поводу, адмирал?

Тот ставит на стол два пальца и внимательно изучает расстояние между ними, словно намечая путь корабля или подсчитывая мили на карте.

— Кратчайший путь на перекладных: из Мадрида в Байонну, а оттуда уже в Париж.

— Боюсь, это не меньше трехсот лиг...

— Двести шестьдесят пять, по моим подсчетам, — безжа-

лостно уточняет дон Педро. – Почти месяц пути. И это только в одну сторону.

– Когда вы собираетесь выехать?

– Надеюсь, недели через две мы уже будем готовы.

– Отлично. Достаточно времени, чтобы уладить вопросы с финансированием. Вы уже подсчитали, какая сумма вам понадобится?

Адмирал достает из-за рукава кафтана листок бумаги, сложенный вчетверо, кладет на стол и разглаживает ладонью. Листок покрывают цифры, выведенные прямым, четким почерком.

– Восемь тысяч реалов понадобится на приобретение «Энциклопедии», прибавьте к этому пять тысяч на дорогу и проживание плюс по три тысячи на брата таможенных сборов. Вот тут все подробно расписано.

– Что ж, не такая большая сумма, – с явным облегчением замечает Вега де Селья.

– Надеюсь, этого хватит. Я не предвижу других расходов, кроме средств на существование. От Академии потребуется оплатить лишь самое необходимое.

– Я бы не хотел, чтобы ваш кошелек...

На лице адмирала проскальзывает искорка высокомерия, светло-голубые глаза спокойно выдерживают взгляд Веги де Сельи, а тот тем временем рассматривает маленький горизонтальный шрам, едва заметный среди морщин: он тянется от виска к левому веку его собеседника. Старый моряк

никогда не говорил об этом, однако среди академиков ходит слух, что это след от ранения, полученного еще в юности во время морского сражения при Тулоне.

– Не возьмусь судить о кошельке дона Эрмохенеса, – говорит адмирал, – однако мой кошелёк – это мое личное дело.

Вега де Селья посасывает кончик сигары и смотрит на библиотекаря, который отвечает ему любезной улыбкой.

– Я полностью доверяю расчетам моего коллеги, – говорит тот. – Адмирал привык жить в спартанских условиях, как настоящий моряк, но и я довольствуюсь в жизни не многим.

– Как вам угодно, – сдаётся директор. – В ближайшие дни наш казначей выдаст вам средства для путешествия. Одна часть этих денег будет в наличных – это на дорогу, другая – в виде кредитного письма для одного парижского банкира: банк Ванден-Ивер, им можно доверять.

Указательный палец адмирала поднимается над столом и висит над листком с расходами, будто прицеливаясь.

– Разумеется, мы отчитаемся за все, что потратим во время поездки, до последнего реала. – В его тоне слышится превосходство. – И подтвердим соответствующими чеками.

– Прошу вас, дорогой друг... Не вижу необходимости заходить так далеко, я полностью вам доверяю.

– Я готов повторить свои слова, – настаивает адмирал со свойственной ему холодностью: его указательный палец все еще целится в листок с расходами так, словно они составляют предмет его гордости. Вега де Селья замечает, что его

ногти, в отличие от грязных и отросших ногтей неряхи-библиотекаря, коротко подстрижены и тщательнейшим образом ухожены.

– Как хотите, – замечает он. – Однако есть одна деталь, которую необходимо учитывать: обычные перекладные вам не подходят, мало какой дилижанс проделает полностью весь путь, к тому же дороги ужасны. Ехать же верхом на мулах, позвольте заметить, вам пристало еще меньше... Да и кому из нас такое подходит!

Робкая шутка вызывает у дона Эрмохенеса добродушную улыбку, однако адмирал по-прежнему невозмутим. На самом деле Педро Сарате ведет себя с тщательно скрываемым кокетством даже в том, что касается возраста. Несмотря на свою все еще отличную фигуру, на красивую одежду, которая сидит на нем ловко, как перчатка на руке, и на весь его холеный вид, академики понимают, что ему никак не меньше шестидесяти – шестидесяти пяти лет, хотя точный возраст не известен никому.

– Обратную дорогу, – произносит адмирал, – может осложнить груз. Двадцать восемь томов в кожаном переплете – довольно тяжелая ноша. Придется доставать специальный транспорт; кроме того, учитывая особенность этого груза, таможни и прочее, будет весьма неразумно везти его без присмотра.

– Разумеется, нужно будет воспользоваться каретой, – поразмыслив, предлагает Вега де Селья, – которая предназна-

чалась бы только для вас. И пожалуй, лошади вместо мулов: у них мягче шаг, и они быстрее... – В этот миг он морщится, вспомнив о расходах. – Впрочем, не знаю, удастся ли это обеспечить.

– Не беспокойтесь. Мы обойдемся обычными перекладными.

Директор мгновение размышляет.

– У меня есть английский экипаж, – заключает он. – Отлично подходит для конной тяги. Если хотите, можете им воспользоваться.

– Очень щедро с вашей стороны, но мы обойдемся чем-нибудь попроще... не так ли, дон Эрмохенес?

– Конечно, разумеется!

Директор отмечает, что каждый из двоих академиков ведет себя на свой манер. Библиотекарь относится к тяготам путешествия с присущим ему добродушным смирением, подшучивая надо всем, и в первую очередь – над собой, ни в какой ситуации не теряя юмора и оптимизма. Адмирал же, стойкий и подтянутый, явно тяготеет к жесткой военной дисциплине как к лучшему средству против бесконечного пути на перекладных, убогих постоянных дворов, глиняных горшков с пересохшей треской и фасолью, ядовитой пыли и прочих тягот путешествия.

– Думаю, вам понадобится сопровождающий.

Дон Эрмохенес смотрит на него с недоумением:

– Кто, простите?

– Слуга... Человек, который возьмет на себя бытовые заботы.

Они с недоумением переглядываются. Вега де Селья знает, что дон Эрмохенес, ведущий крайне убогое существование, живет под присмотром старухи-служанки, питаясь ее же скверной стряпней, – старуха прислуживала в доме еще во времена, когда была жива супруга библиотекаря. Дон Педро Сарате – полная его противоположность. Женат он не был. Покинув Королевскую армаду, живет в обществе двух сестер, старых дев примерно одного возраста и похожих внешне, главное дело жизни которых – забота о брате. По воскресеньям можно увидеть, как все трое прогуливаются подвязами Прадо, неподалеку от их дома на улице Кабальеро-де-Грасиа. Эти самоотверженные женщины, верные сестринскому долгу, очень гордятся тем, что никто в Академии не одевается с такой безукоризненной и сдержанной элегантностью, как их брат: темные камзолы – они сами готовят выкройки и зорко присматривают за портным, – как правило, из тонкого сукна синего, серого или черного цвета, отлично подогнаны под высокую, стройную фигуру адмирала. Его жилеты и брюки могут смело соревноваться с платьем любого французского аристократа, чулки безукоризненны – без единой морщины и следов штопки, а гладкость рубашек и галстуков заставила бы побледнеть от зависти самого герцога Альбу.

– Я мог бы приставить к вам кого-то из моих личных

слуг, – предлагает Вега де Селья.

– А жалованье? – беспокоится дон Эрмохенес. – Видите ли, не знаю, как сеньор адмирал, а я...

Адмирал смущенно хмурится. Очевидно, в силу характера и воспитания он не любит рассуждать о деньгах; однако, несмотря на безупречный вид, их у него не так много. Вега де Селье известно, что дон Педро Сарате и его сестры, не имея наследства или личного имущества, живут на сбережения и пенсию отставного бригадира. В несчастной Испании, полной несправедливости и задержанных выплат, отставные морские офицеры и военные часто умирают в нищете и даже зарплату им выдают нерегулярно.

– Это мой домашний слуга. Я уступлю его вам. Временно.

– С вашей стороны это просто замечательно, сеньор директор, – растроганно бормочет дон Эрмохенес. – Вы очень любезны. Но, мне кажется, в этом нет необходимости... А вы что думаете, сеньор адмирал?

Дон Педро качает головой.

– Думаю, это роскошь, без которой мы вполне можем обойтись, – сухо отвечает он.

– Что ж, навязывать не буду, – соглашается Вега де Селья. – Однако возницу и экипаж я вам все-таки дам. Подыщем кого-то, кому можно доверять. Надеюсь, с этим вы спорить не будете.

Дон Педро вновь соглашается, на сей раз не произнося ни слова. Спокойный, серьезный, он так же непроницаем

и непостижим, как обычно; однако на лице появляется меланхоличное выражение. Возможно, думает директор, такая его манера выражать озабоченность. Речь идет о долгой дороге, полной непредвиденных опасностей. Странная и одновременно благородная авантюра в духе эпохи: доставить источник знания, мудрость века в скромный уголок Испании, в Королевскую библиотеку. И все это предстоит сделать двум добрым людям, решительным и бесстрашным, которые отправятся в путь по Европе, с каждым днем все более беспокойной, где старые престолы внезапно сделались шаткими и все меняется слишком быстро.

2. Опасный человек

Любое заимствование делалось с величайшими предосторожностями, особенно когда дело касалось доктрины и политики. Все стремились сохранить многочисленные привилегии, а также соблюсти идеологические традиции, которые не сочетались с новым миром, сиявшим все ярче.

Ф. Агилар Пиньяль. Испания в эпоху просвещенного абсолютизма

В романе я всегда стараюсь осторожно обращаться с мизансценой, даже если описание ее занимает всего несколько строк. Правильная мизансцена придает особое настроение персонажам и событиям, а иной раз и сама становится событием. Если не злоупотреблять описательными подробностями, светлый или пасмурный день, открытое или закрытое пространство, ощущение дождя, сумрака, близости ночи, вторгаясь в действие или в диалог, помогают сделать пространство романа более реальным. По сути, речь идет о том, чтобы читатель увидел то, на что намекает автор: сцену и ситуацию. Чтобы ему по возможности передалось видение того, кто рассказывает историю.

Итак, я описывал Мадрид последней трети XVIII века. Я уже рассказывал про эту эпоху в одном из своих предыдущих романов. Поэтому, прежде чем поместить героев в нуж-

ную мизансцену, я уже знал, как ее лучше обставить. Мне были знакомы обычаи и нравы той поры, включая языковые обороты и особенности разговорной речи; кроме того, в моем распоряжении были подробные справочники: произведения Кадальсо и Леандро Фернандеса де Моратина, сайнеты⁸ Рамона де ла Круса и Гонсалеса де Кастильо, мемуары и путевые заметки с подробными описаниями людей, мест и памятников той эпохи. Что касается городской структуры, расположения улиц и зданий, с этим также особых проблем не было. В моей библиотеке имеется два замечательных раритета, к которым я уже прибегал однажды, описывая восстание против наполеоновских войск 2 мая 1808 года. Один из них – карта Мадрида, опубликованная в 1785 году картографом Томасом Лопесом: предмет удивительной точности – мы редко по достоинству оцениваем мастерство того периода, когда спутниковая фотография не существовала, – сопровождаемая подробным перечислением улиц и зданий. Другой назывался «План города Мадрида, а также Мадридского двора», он был опубликован Мартинесом де ла Торре и Асенсио в 1800 году, его мне когда-то много лет назад подарил букинист-антиквар Гильермо Бласкес. Это последнее произведение, помимо развернутого плана города, который, собственно, и давал ему название, включало в себя семьдесят четыре небольшие гравюры, в мельчайших подробностях

⁸ *Сайнета* – небольшая пьеса испанского театра, написанная в прозе или в стихах.

описывающие каждый квартал.

Имея под рукой столь богатый материал, было несложно найти Дом Казны, в котором располагалась Испанская королевская академия в период приобретения «Энциклопедии»: это был флигель, примыкавший к зданию Королевского дворца, интерьер которого в те времена еще не был до конца оформлен. Сейчас Дома Казны уже не существует, его снесли в 1910 году для строительства площади Орьенте; но в Интернете я отыскал несколько вертикальных проекций, выполненных безвестным французским архитектором и хранившихся в Национальной библиотеке. Вооружившись всем этим, а заодно прихватив с собой копии еще кое-каких чертежей, я отправился в этот квартал, чтобы соотнести нынешнюю топографию с прошлой. Я подолгу гулял в тех местах, стараясь воссоздать облик здания, в котором сотрудники Академии собирались на протяжении сорока лет, пока в 1793-м королевским декретом им не выделили другую резиденцию, на улице Вальверде. Я представлял, как почтенные мудрецы той эпохи входят в старинный особняк или выходят из него, и наметил приблизительный маршрут, которым Мануэль Игеруэла и Хусто Санчес Террон, два академика, решившие, при всем различии во взглядах, совместно препятствовать покупке «Энциклопедии», продолжали свою ночную прогулку по улице Майор до Пуэрта-дель-Соль, куда первый убеждал второго в необходимости тайно объединить усилия против поездки в Париж.

Но есть еще один сюжетный поворот, чью мизансцену я должен обозначить прежде, чем следовать дальше: речь идет о беседе Игеруэлы и Санчеса Террона с опасным человеком, однажды уже упомянутым мельком в этой истории, а именно – с Паскуалем Рапосо, которому суждено будет сыграть в дальнейшем развитии событий важную роль. В соответствии с сюжетом это должно было произойти в особенном месте, чья атмосфера поможет раскрыть кое-какие особенности этого персонажа. В итоге я решил поместить всех троих в типичном заведении того времени: в кофейне, чей дух напоминал «Новую комедию» Моратина, однако оснащенную дополнительными залами, где играли в бильярд, карты и шашки. Заведение должно было располагаться в центре города; изучив карту, я остановился на улицах между Сан-Хусто и площадью Конде-де-Барахас, в самом сердце так называемого – его границы довольно-таки расплывчаты – Мадрида-де-лос-Астуриас. Затем я отправился дальше, чтобы осмотреться уже на месте: все соответствовало как нельзя более точно. И там, перед одним из старинных зданий, которое прекрасно могло существовать во времена моих событий, я представил себе одного из персонажей, который шел на условленную встречу скрепя сердце.

Заведение, которое разыскивает Хусто Санчес Террон, расположено в темном глухом переулке, неподалеку от Пуэрта-Серрада. Кое-где сушится белье, развешанное на верев-

ках, натянутых между балконами, и ручеек грязной воды бежит прямо по центру каменной мостовой. Главный фасад здания ничем не примечателен, однако Санчес Террон сам настоял, чтобы встреча проходила в скромном месте, скрытом от чужих глаз. Вот почему, нахмутив брови и прибавив шаг, философ и академик проходит последний участок пути, толкает приоткрытую дверь, проникает внутрь и морщится: пахнет застарелой сыростью и табачным дымом. В конце темного коридора слышен гул голосов и звяканье бильярдных шаров. Луч солнца, проникающего в крошечное окошко, расположенное под самым потолком, освещает человека, который поджидает, сидя в кресле и листая «Ежедневные новости», у стола, на котором стоит чашка с пригубленным шоколадом и блюдечко с бисквитом.

– Вы, как всегда, пунктуальны, дон Хусто, – говорит Мануэль Игеруэла вместо приветствия, опуская в карман кафтана часы, с которыми только что сверился.

– Перейдем сразу к делу, – отвечает Санчес Террон, который чувствует себя здесь неуютно.

– Всему свое время.

– Верно, но у меня его не так много.

Улыбаясь, Игеруэла делает заключительный глоток шоколада, а издатель все еще по-деловому стоит, не желая садиться.

– Ревматизм, – жалуется Игеруэла, отодвигая чашку. – Посидишь некоторое время неподвижно, а потом шагу не сту-

пить... Это вы у нас всегда как огурчик. В пупырышках.

Санчес Террон нетерпеливо машет рукой:

– Избавьте меня от пустой болтовни. Я пришел не для того, чтобы беседовать о здоровье.

– Конечно, разумеется, – насмешливо улыбается Игеруэла. – Еще чего не хватало.

Он с преувеличенной любезностью кивает в сторону коридора, и оба академика молча направляются в сторону зала, расположенного в глубине кофейни. По мере их продвижения голоса слышатся громче. Наконец они оказываются в просторном помещении, разделенном на две части: первую занимают два бильярдных стола, вокруг которых расхаживают несколько субъектов с киями в руках, ударяя по мраморным шарам; в другой, потеснее, расположенной на возвышении, стоят столы, занятые игроками и зеваками. Посыльный в фартуке расхаживает с кофейником и кувшином горячего шоколада, наполняя чашки. Посетители читают газеты, большинство курят трубки и сигары, окна замкнуты, и в густом, отяжелевшем воздухе стелется серый туман.

– Ессе homo, – говорит Игеруэла.

Он кивает подбородком на один из столов, за которым играют в карты. Один из игроков – человек лет сорока, с кудрявыми волосами и густыми черными бакенбардами от висков до самого рта; он резко поднимает голову, заметив их приближение. Затем кладет на место коня кубков⁹, обмени-

⁹ Масть испанской карточной колоды.

вается парой слов со своими приятелями, встает и идет навстречу прибывшим. Он невысок ростом, широкоплеч, на нем камзол из коричневого сукна, широкие замшевые штаны, вместо гольфов и уличной обуви – деревенские сапоги с гамашами. Игеруэла знакомит их друг с другом:

– Дорогой дон Хусто, позвольте представить вам Паскуаля Рапосо.

Человек по имени Рапосо с некоторой развязностью протягивает руку – сильную, шершавую лапу, такую же смуглую, как задубевшая кожа его физиономии, – однако Санчес Террон ее будто бы не замечает: его руки по-прежнему сложены за спиной, и он только сдержанно кивает – этот жест больше напоминает пренебрежение, чем приветствие. Ничуть не опечалившись, Рапосо секунду внимательно смотрит на него своими темными, почти приветливыми глазами, затем переводит взгляд на собственную руку, зависшую в пустоте, словно недоумевая – что в ней такого неприличного, затем подносит ее к жилетке: рука застывает, уцепившись большим пальцем за карман.

– Идите за мной, – говорит он.

Оба академика следуют за ним и оказываются в небольшой нише, где стоит стол, покрытый зеленой скатертью, на которой лежит скомканная и засаленная колода карт. Рядом стоят стулья, на которые рассаживаются пришедшие.

– Ну, говорите.

Может показаться, что Рапосо обращается к Игеруэле, од-

нако разглядывает он при этом Санчеса Террона. Тот сухо пожимает плечами, передавая инициативу своему приятелю. В обществе таких, как вы, сообщает его взгляд, я гость случайный.

– Мы с доном Хусто, – вступает Игеруэла, – решили прибегнуть к вашим услугам.

– На тех условиях, которые мы с вами обсуждали несколько дней назад?

– Разумеется. Когда вы будете готовы?

– Когда скажете. Думаю, все зависит от даты отъезда этих ваших сеньоров.

– По нашим данным, они отправляются в путь в следующий понедельник.

– На перекладных?

– Академия выделила им карету... Лошадей будут менять на постоянных дворах, которые попадают на пути.

Повисает молчание. Рапосо берет со стола карты и рассеянно их тасует. Санчес Террон следит за его пассажами: карты мелькают беспорядочно, однако всякий раз у Рапосо в пальцах оказывается туз.

– Вы должны следовать за ними, – продолжает Игеруэла. – Разумеется, очень осторожно... Вы будете один?

– Да. – Рапосо выкладывает на скатерть трех валетов подряд и недоуменно смотрит на колоду, словно спрашивая ее, куда подевался четвертый. – И большую часть времени в седле.

– Сеньор Рапосо был солдатом, – объясняет Игеруэла Санчесу Террону. – Служил в кавалерии. Потом недолгое время работал на полицию, когда изгоняли иезуитов. А с другой стороны...

Тут Рапосо внезапно поднимает одну из карт – тройку бастос¹⁰, чтобы перебить излишнюю болтовню издателя. Дружелюбное выражение физиономии, испаряющееся так же внезапно, как и появляется, смягчает резкость его движения.

– Сомневаюсь, что сеньору интересна моя биография, – говорит он, поглядывая на Санчеса Террона. – Вы явились беседовать не обо мне, а о деле. Об этих путешественниках.

– Дорога туда менее важна, чем обратно, – поясняет Игеруэла. – Достаточно не терять их из виду... Настоящая работа начнется уже в Париже. Надо будет сделать все возможное, чтобы помешать им. Эти двадцать восемь томов ни в коем случае не должны пересечь границу.

На лице Рапосо расплывается довольная улыбка. Он только что добавил четвертого валета – валета бастос – к остальным трем.

– Вот теперь дело другое, – говорит Рапосо.

Повисает пауза. На этот раз после недолгого колебания слово берет Санчес Террон:

– Насколько я понимаю, у вас есть надежные связи в Париже.

¹⁰ *Бастос* – одна из разновидностей карточных мастей в Испании. Ее символ изображает дубинки.

– Я провел там какое-то время... Неплохо знаю город. И его опасности.

Услышав последнее слово, философ заморгал.

– Физическая неприкосновенность обоих путешественников, – уточняет он, – задача первостепенная.

– Неужто первостепеннее первостепенной?

– Разумеется!

Взгляд Рапосо медленно, задумчиво перемещается с игральных карт и застывает на перламутровых пуговицах на камзоле Критика из Овьедо. Затем по пышному галстуку поднимается к его глазам.

– Вас понял, – невозмутимо произносит он.

Санчес Террон внимательно наблюдает за выражением его лица. Затем оборачивается к Игеруэле и угрюмо смотрит на него, требуя разъяснений.

– Однако это, – добавляет тот, – не исключает чрезвычайных мер в том случае, если вы, сеньор Рапосо, сочтете необходимым к ним прибегнуть.

– Чрезвычайных мер? – Рапосо пощипывает бакенбарду. – А, ну да.

Академики переглядываются: Санчес Террон – недоверчиво, Игеруэла – умиротворяюще.

– Было бы идеально, – намекает издатель, – если бы упомянутые меры вынудили этих двух сеньоров отказаться от своей затеи.

– Меры, вы говорите, – бормочет Рапосо, словно не до

конца понимая значение этого слова.

– Точно так.

– А если обычных мер окажется недостаточно?

Игеруэла съеживается, как каракатица, – не хватает только чернильного облака.

– Не понимаю, куда вы клоните.

– Все вы отлично понимаете. – Рапосо засовывает валетов обратно в колоду и осторожно ее тасует. – Расскажите лучше, как мне действовать, если, несмотря на все меры, эти кабальеро все-таки достанут свои книги?

Игеруэла открывает рот, собираясь ответить, но Санчес Террон опережает его:

– В этом случае мы вам даем карт-бланш, чтобы самому решать, каким способом их отобрать.

Если первоначально моральное превосходство философ собирался оставить за собой, ему это не удалось. Рапосо смотрит на него с откровенным презрением.

– Карт-бланш – это значит белое письмо, так?

– Так.

– А насколько белое?

– Белоснежное...

Рапосо искоса посматривает на Игеруэлу, желая убедить-ся, что тот слушает внимательно. Затем выкладывает колоду на скатерть.

– Белоснежные письма нынче недешевы, сеньоры.

– Все расходы будут покрыты, – заверяет его издатель. –

За вычетом суммы, которую вы уже получили.

Он сует руку во внутренний карман камзола и достает мешочек – в нем спрятаны шесть тысяч восемьдесят реалов, отчеканенных в девятнадцати унциях золота, – и протягивает Рапосо. Тот взвешивает мошну на ладони, не открывая, и с невозмутимой наглостью смотрит сперва на одного академика, затем на другого.

– Расходы-то небось на двоих?

Санчес Террон беспокойно ерзает на стуле.

– Не ваше дело, – отрезает он недовольным тоном.

Рапосо удовлетворенно кивает, убирая кошелек:

– Вы правы. Не мое.

Снова повисает пауза. Рапосо молчаливо разглядывает обоих, в его глазах заметен странный игривый блеск.

– А в карты вы играете? – внезапно интересуется он. – В поддавки или еще во что-нибудь?

– Я играю, – выдавливает из себя Игеруэла.

– А я – ни в коем случае, – презрительно заявляет Санчес Террон.

– В карточной игре либо выигрываешь, либо проигрываешь... Главное – одни карты всегда нападают на другие... Вы слышите меня?

– Да...

Рапосо ставит локти на стол, смотрит на колоду, затем снова поворачивается к философу. В это мгновение Санчесу Террону кажется, что у Рапосо на боку под камзолом торчит

рукоять кинжала.

– А что, если из-за непредвиденных обстоятельств, которые случаются сплошь и рядом, с одним из этих людей, а может, и с обоими, случится какая-нибудь неприятность?

На этот раз пауза затягивается. Первым, благодаря своему привычному цинизму, ее прерывает Игеруэла:

– Насколько серьезная?

– Понятия не имею. – Рапосо уклончиво улыбается. – Обычная неприятность. Из тех, что случаются в долгих и опасных путешествиях.

– Все мы в руках Божиих.

– Или в руках судьбы, – важно отвечает Санчес Террон. – Законы природы неумолимы.

– Вас понял. – В глазах Рапосо снова вспыхивает игривая искорка. – Законы природы, говорите...

– Вы совершенно правы.

– Валеты, короли и прочее... Либо ты сам завидуешь, либо завидуют тебе.

– Надеюсь, мы друг друга понимаем.

Рапосо вновь сосредоточенно щиплет бакенбарды.

– Есть одна штука, которую я всегда хотел узнать, – произносит он, поразмыслив. – Вы ведь ученые по языку или что-то в этом роде?

– Верно, – соглашается Санчес Террон.

– Вот о чем я давным-давно размышляю... Когда слово начинается на звонкий звук, например «ж», то как пишется

приставка – «без» или «бес»? «Безжалостные» или «бесжалостные»?

А в это время у себя дома на улице Ниньо дон Эрмохенес Молина, библиотекарь Испанской королевской академии, собирается в дорогу. Небольшой сундук и старенький чемодан из картона и потертой кожи стоят раскрытые в спальне возле кровати. Помощница по хозяйству уже уложила в их недра белое постельное белье, просторный халат, ночной колпак и сменные туфли из бычьей кожи, купленные специально в дорогу. Гардероб не слишком изыскан: гольфы заштопаны, рубашки изрядно потертые на рукавах и воротнике, а шерсть, из которой связан колпак, скорее вентилирует, нежели греет. Доходы старого преподавателя и переводчика с латыни в Мадриде той эпохи – впрочем, как и любой другой – не позволяют особых излишеств, а расходы – уголь, воск и масло, все, что обогревает, кормит и освещает, арендная плата и разные налоги, не говоря уже о табаке, книгах и других пустяках, – съедают подчистую все скудные средства, которые водятся в доме.

– Стол накрыт, дон Эрмохенес, – зовет хозяйка, просунувшись в дверь.

– Иду.

– Второй раз суп греть не буду, – ворчливо добавляет хозяйка: на службе у дона Эрмохенеса и его покойной супруги она состоит уже пятнадцать лет.

– Сказал же, сейчас приду.

Дон Эрмохенес неторопливо складывает кафтан и чулки и кладет их в сундук. Сверху, стараясь не помять рукава и фалды, пристраивает сильно потертый камзол из коричневого сукна. На спинке одного из кресел висят черный плащ на шелковой подкладке, солнечный зонтик из тафты и шляпа из бобрового меха с круглыми полями, смутно напоминающая церковное облачение; а на комодѣ ждут своей участи прочие скромные предметы, которые будут сопровождать своего владельца в дороге, как то: гигиенические и бритвенные принадлежности, два карандаша и тетрадь, старенькие карманные часы на цепочке, табакерка с крышкѣй, покрытой глазурью, ножик с костяной ручкой и Гораций, изданный на двух языках в формате ин-октаво.

Уложив камзол в сундук, библиотекарь на миг замирает, погружаясь в раздумья. Иногда – как, например, сегодня – мысли о путешествии приносят досаду и преждевременную усталость, густую и вязкую, как похлебка, ожидающая на столе в гостинѣй. И еще – глубочайшую тревогу. Дон Эрмохенес до сих пор не понимает – все объясняют этот отъезд его природной добротой, однако доброта тут ни при чем, – как он мог, почти не сопротивляясь, согласиться на поручение своих коллег по Академии, и теперь ему предстоит долгий путь, полный тягот и лишений, в чужую страну. У него нет ни энергии, ни физической выносливости для подобного подвига, тяжело вздыхает библиотекарь. Он никогда не мечтал о путешествиях за пределы Испании, исключением была

лишь Италия, колыбель романских языков, которым он посвятил всю свою жизнь и свои труды; однако ему так и не представилась возможность совершить желанное паломничество: увидеть Флоренцию и Неаполь, посетить Рим и побродить среди его камней, пытаясь уловить отзвук прекрасного языка, из которого позднее, переплавленный в алхимическом тигле времени и истории, получился испанский язык, и на нем заговорили народы, проживающие на берегах всех океанов. Дон Эрмохенес ни разу в жизни не выезжал из Испании, да и по ней путешествовал не слишком много: Алькала и Саламанка, где он учился в юности, Севилья, Кордова, Сарагоса. Вот и все. Не так много. Большую часть своей жизни он портил себе глаза в тусклом мерцании сальной свечи, корпя над старыми текстами, пачкая пальцы чернилами и покусывая кончик пера. *Что касается Фемистокла, то его род был не настолько знатен, чтобы способствовать его славе...* И так далее.

И все же есть на свете одно завораживающее слово, одно-единственное ни с чем не сравнимое название: Париж. Брезжащее в конце утомительной дороги, которую академик предчувствует впереди, это имя в последнее время превратилось в притягательную цель для тех, кто, подобно дону Эрмохенесу, улавливает пульс мира – в Испании чаще всего заглушаемый из соображений осмотрительности, – который меняется; просвещения, которое ставит разум выше старых догм и озаряет путь, каковой приведет человечество к сча-

стью и процветанию. Вдовец шестидесяти трех лет, утративший добродетельную супругу, которая скончалась из-за болезни, смирившись по-христиански со своей участью, библиотекарь Академии свято верит в эту иную, лучшую жизнь; его религиозная вера простодушна и не ставит перед ним неразрешимых сомнений, что происходит с некоторыми его знакомыми – характерная болезнь нынешнего века, – которые чрезмерно смущают собственную душу. Библиотекарь Королевской академии верит, что Бог – творец и мера всех вещей; однако книги, среди которых прошла его жизнь, привели его к выводу о том, что человек обязан добиться своего благополучия и спасения уже на этой земле, в течение земной жизни, проведенной в гармонии с естественными законами природы, а не откладывать эту полноту для какого-то другого, внеземного существования, которое якобы компенсирует страдания, пережитые в земной жизни. Сочетать эти две веры не всегда просто; однако в моменты наибольших сомнений простодушная религиозность дона Эрмохенеса помогает возвести надежные мосты между разумом и верой.

В этой ситуации Париж выглядит настоящим вызовом. Манящим, соблазнительным опытом. В этом городе, превратившемся в безусловный центр просвещения, вступившего в битву с мракобесием, в котел, где сгущаются сливки человеческого интеллекта и современной философии, сегодня развязывается гордиев узел, распадаются верования, еще недавно казавшиеся несокрушимыми, ведутся споры

обо всем, что существует между небом и землей. Даже священный принцип французской монархии – и, как логическое продолжение, всех, кто стоит у власти, – не остается вдали от этой свистопляски убеждений и идей. Посмотреть на все это вблизи, прикоснуться собственными пальцами к полнокровной вене, где пульсирует новый мир, пожить хотя бы несколько дней в лихорадке города, в чьих салонах, кружках и кофейнях, от подсобок лавочников до королевских приемных, все это копошится, движется, шелестит, – вот он, вызов, перед которым даже тихий от природы нрав дона Эрмохенеса не может устоять.

– Я ж вам сказала: суп вот-вот простынет. И больше говорить не буду!

– Иду, иду, Хуана. Не ворчи, пожалуйста... Я уже иду.

Подняв глаза, библиотекарь видит в окошко спальни женский монастырь босоногих тринитариев, расположенный в конце улицы. Каждого, кто выглянет в это окошко, думает он, непременно охватывает глубочайшая меланхолия. Затхлая, угнетенная, темная страна, которой так необходимы свежие идеи, способные осветить ее будущее, копит большую часть своих застарелых болезней по ту сторону кирпичных стен. Сам Мигель де Сервантес, вознесший на недостижимую высоту не только испанскую, но и всю мировую литературу, покоится где-то здесь, в общей могиле. Его обратившиеся в пыль останки со временем затерялись. Он умер в бедности, всеми покинутый, преданный забвению современни-

ками после тяжелой и несчастливой жизни, так и не насладившись успехом, который принесла ему бессмертная книга. Тело Сервантеса доставили из его скромного дома, расположенного в двух кварталах отсюда, на углу улицы Франкос и Леон, без сопровождения и каких-либо почестей и похоронили в темном углу, память о коем утеряна. Забытый своими современниками и восстановленный в правах намного позже, когда за границей уже превозносили и всю издавали его «Дон Кихота», и ни надгробье, ни даже скромная надпись не запечатлела его имени. Только благодаря времени, дальновидности и благоговению верных читателей – в том числе иностранцев – Сервантесу были возданы почести и слава, которых соотечественники лишили его при жизни и к которым до сих пор большая часть неотесанной Испании, любительницы боя быков, комедий и щегольства, остается совершенно равнодушной. Печальный символ, эти безымянные кирпичные стены словно бы огораживают всю темную нацию, спящую на обломках своего прошлого, убийственно благодушную пленницу самой себя. Горький посмертный урок – вот что воплощает собой эта забытая могила. Могила доброго человека, воевавшего простым солдатом при Липанто, плененного в Археле, прожившего тяжелую жизнь, которому суждено было написать самый гениальный роман всех времен и народов.

– Вот что, дон Эрмохенес. Вы либо садитесь за стол, либо я немедленно выливаю суп обратно в кастрюлю!

С покорным вздохом академик поворачивается спиной к окну и направляется по коридору в столовую, где напротив стеллажей с бесчисленными книгами стоит раскрашенная алебастровая фигурка Пресвятой Девы. Перед Девой крошечным бледным огоньком горит свеча, приклеенная к подсвечнику.

Рассказать подробно о таком персонаже, как отставной командир бригады морских пехотинцев дон Педро Сарате, оказалось сложнее, чем о библиотекаре. Вначале мне стоило немалых трудов раздобыть какую-либо информацию о нем, за исключением краткого – в пару строк – упоминания в книге Сисиньо Гонсалеса-Альера об испанских морских офицерах эпохи Просвещения. В итоге, раздобыв еще кое-какие сведения, я смог сопоставить данные и частично воссоздать его биографию. Речь идет о скромной, умеренной жизни; ничего выдающегося, чем можно было бы украсить послужной список, в ней не случилось. Этот академик не был выдающейся фигурой среди просвещенных офицеров своего времени. Мне удалось выяснить, что, согласно некоторым данным, он был холост – морские боевые офицеры в то время должны были получить особое дозволение, чтобы жениться, и этот факт был бы обязательно отмечен в офицерских регистрах, – а также то, что он проживал в доме на улице Кабальеро-де-Грасиа, угол улицы Алькала. Его единственное боевое действие, о котором имелось упоминание, – участие в

тяжелейшем морском сражении у мыса Сесие напротив Тулона в составе эскадры маркиза де ла Виктория, 22 февраля 1744 года в возрасте двадцати шести лет в чине старшего лейтенанта на борту корабля «Король Филипп» со ста четырьнадцатью пушками. С этого дня профессиональная деятельность дона Сарате в рядах Королевской армады протекала довольно-таки неопределенно: сначала Академия гардемарин в Кадисе, затем бюрократическая работа в секретариате морского флота, вплоть до полной отставки в звании бригадира.

Благодаря изучению текстов я нашел в архивах Академии еще кое-какие сведения об адмирале, помимо его морской карьеры. Почти с самого основания Испанская академия по традиции предпочитала иметь среди своих членов представителя вооруженных сил, безразлично, сухопутных или морских, чтобы он ориентировался в словарных терминах, связанных с военной службой. Такие упоминания очень часто встречались в то время, когда война – Великобритания была постоянным врагом Испании в продолжение всего восемнадцатого века – занимала в повестке дня обычное место. В этом смысле деятельность дона Педро Сарате была достаточно активной, поскольку его имя фигурировало на карточках со словами, включенными в издания «Словаря» 1793 и 1791 годов, все они касались военной лексики. Однако самым важным трудом его жизни был «Морской словарь», первый в своем роде, выпущенный в Испании после нескольких

кое-как составленных справочников по морскому делу и словарей менее значительных. Экземпляр этого словаря я держал в своих руках, перелистывая его за одним из рабочих столов нашей библиотеки: формат ин-кварто, отличная полиграфия, отпечатано в Кадисе в 1775 году. А несколькими днями позже, обедая в Ларди с моим другом адмиралом Хосе Гонсалесом Каррионом, директором Морского музея Мадрида, я попросил его рассказать подробнее о книге и ее авторе. Книга дона Педро Сарате, объяснил он, – это типичный классический труд. Она рассказывала о военном деле, была совершенно необходима для своей эпохи, и только через полвека ее превзошел «Испанский морской словарь» Тимотео О’Сканлана.

– Прежде всего нужно помнить, что Сарате сотрудничал с Хуаном Хосе Наварро, маркизом де ла Виктория, который командовал испанской эскадрой во время битвы с англичанами при Тулоне... В тысяча семьсот пятьдесят шестом году Наварро закончил великолепный альбом крупного формата, посвященный военно-морской науке, который так и не был опубликован, пока не так давно мы не выпустили факсимильное издание. В некоторых заметках, посвященных этому произведению, присутствуют письма и отчеты, подписанные Педро Сарате-и-Керальто. Почти все они имеют отношение к военной терминологии, которой тот интересовался.

Он нагнулся к портфолио, прислоненному к одной из ножек кресла, вытащил пластиковую папку и положил передо

мною на скатерть. В папке обнаружили какие-то ксерокопии.

– Тут все, что мне удалось отыскать о твоём бригадире – или адмирале, как вы зовете его у себя в Королевской академии. Включая рекомендацию для получения звания лейтенанта фрегата, подписанную собственноручно маркизом де ла Виктория, а также его весьма любопытное письмо о преимуществах и лаконизме морской терминологии... Все это дополняет образ твоего героя.

– Испанская королевская академия сделала его своим членом в тысяча семьсот семьдесят шестом году, – заметил я. – Он занял место генерала Осорио, который представлял сухопутные войска.

– В таком случае даты совпадают: словарь Сарате вышел годом раньше, и интерес выглядит вполне логичным. Его величайший вклад состоял в том, что впервые был опубликован систематический компендиум, отлично выстроенный, включающий всю военно-морскую терминологию... К тому же он сопровождал каждое слово эквивалентом из двух других языков, содержащих военно-морскую лексику, – французского и английского. Это произведение соответствовало духу просвещенной морской армии в период ее обновления, в то время одной из лучших в мире: вышколенной, энергичной, организованной, современной... Величайшее научное и культурное достижение.

– Морские офицеры, которые читали, – провокативно за-

метил я, — а заодно и сами писали книги.

Гонсалес Каррион расхохотался.

— Сейчас такие тоже есть, — сказал он. — Хотя, конечно, их меньше. Дело в том, — добавил он, — что во второй половине восемнадцатого века после реформы маркиза де ла Энсенады наш морской флот значительно улучшился и выглядел непобедимым. Американские колонии исправно поставляли материалы, позволяющие спускать на воду великолепные корабли с самым современным военным оснащением, а в академии гардемарин в Кадисе офицеры Королевской армады получали элитное научное и военное образование; чего не скажешь про матросов, рекрутированных насильно, скверно оплачиваемых и не имеющих повода стараться в несправедливой системе, где предпочтение всегда отдавалось аристократам, которые отнюдь не всегда были на высоте. В библиотеке Морского музея хранилось множество важнейших произведений испанских морских офицеров того времени: правила и регламенты, различные карты, морские справочники, учебники и трактаты по навигации. Добрая сотня трудов, важнейших для морского дела и науки в целом. Это были просвещенные морские офицеры, служившие во времена надежды, — подытожил мой собеседник. — Их уважали даже враги... Когда Антонио де Ульоа возвращался из экспедиции, снаряженной французским правительством для измерения градуса меридиана в Перу, и англичане захватили его в плен, в Лондоне его приняли со всеми почестями и сделали

членом научных сообществ. – В этот миг он умолк, с задумчивым видом созерцая свою тарелку. – Однако все закончилось через несколько лет в Трафальгарском сражении: люди, корабли, книги... А затем началось то, что началось.

Он потыкал вилкой фасолины, лежавшие на тарелке, но так и не съел ни единой. Казалось, собственные слова отняли у него аппетит.

– Сарате, игравший весьма скромную роль, был тем не менее просвещенным морским офицером, – произнес он после секундного молчания. – Одним из тех, кто способствовал тому, чтобы военный флот был по-настоящему современным и соответствовал вызову, принятому испанской империей, которая по-прежнему простиралась по обе стороны Атлантического и Тихого океанов. Это был человек образованный, искренний, порядочный, как и многие из тех, кто так и не получил официального признания, погиб в неравной битве или окончил свои дни в нищете, получая скудное жалованье или не получая вообще ничего... Потому что страна, в которой он жил, не желала меняться. Слишком много существовало темных сил, которые тянули в противоположную сторону.

Он снова замер, все еще держа вилку в руке. Потом положил ее на край тарелки и потянулся к рюмке с вином.

– Но они попытались. – Он сделал глоток и посмотрел на меня, печально улыбаясь. – По крайней мере, эти замечательные люди попытались что-то изменить.

Поскольку Академией ранее уже был выпущен

«Толковый словарь», который демонстрирует все величие, красоту и богатство испанского языка, и учитывая тот неоспоримый факт, что морской флот и мореплавание — двигатели торговли и прогресса, я решил по опыту просвещенных наций составить еще один словарь, гораздо более скромный, всецело посвятив его искусствам и наукам, связанным с морем; моей целью было не изобретение новых терминов, но точное и правомерное заимствование слов у наших писателей-классиков, а также иллюстрирование словарных статей ясными и наглядными примерами их употребления, равно как и использование повседневной речи простых людей, чья деятельность напрямую связана с морем, и таким образом делая сей словарь удобным и практичным в использовании...

Дон Педро Сарате-и-Керальто, отставной командир бригады морских пехотинцев Королевской армады, откладывает перо и перечитывает последние строки, завершающие краткий пролог, который будет сопровождать новое издание «Морского словаря». Ему вполне хватает света масляной лампы, стоящей на столе в кабинете: несмотря на возраст, он сохраняет отличное зрение, и для того, чтобы видеть вблизи, очки ему не требуются. Наконец, удовлетворившись написанным, он вытряхивает немного песка из песочницы, чтобы подсушить чернила, складывает листок бумаги вместе с другими четырьмя листками, завершенными ранее, и запечатывает сургучом. Затем обмакивает перо в чернильницу,

пишет адрес: типография Академии гардемарин, Кадис, — и кладет конверт в центре стола. Прежде чем встать из-за стола, он бросает последний взгляд вокруг себя, чтобы убедиться, все ли в порядке. Этот заключительный штрих — обычный, который, несмотря на прошедшие годы, так и остался в его повседневной жизни. Помимо собранности, свойственной морскому офицеру, а также ставшей следствием постоянного риска, к которому он привык в юности, когда каждое плавание подразумевало вероятность того, что возвращения не будет, адмирал сохранил строжайшую дисциплину, касавшуюся мелочей: оставлять вещь на своем месте, чтобы, вернувшись, ее легко можно было найти или чтобы ее без труда обнаружил тот, кто придет следом, и, вероятно, после окончательного исчезновения хозяина будет вынужден взять на себя ответственность за нее.

Небольшой, скромный кабинет соответствует общей атмосфере дворянского дома, достойного и без лишних претензий. Свет лампы освещает несколько практичных предметов мебели из красного дерева и ореха, ковер посредственного качества, дубовые полки с книгами и открытками, изображающими морские сражения. На главной стене над камином, который никогда не разжигают и на чьей полке в стеклянном футляре красуется модель арсенального корабля с семьюдесятью четырьмя пушками, стоят рядом шесть больших цветных гравюр в рамках, представляющих морское сражение при Тулоне между испанской и английской

эскадрами. Дон Педро Сарате бросает беглый взгляд на гра-
вюры, затем выходит в коридор и неторопливо движется к
прихожей. Подошвы его только что начищенных старых и
удобных английских туфель поскрипывают на деревянном
полу. Сестры Ампаро и Пелигрос уже там. На них домашние
халаты, украшенные бантами и лентами, седые волосы чин-
но убраны под накрахмаленные чепчики. Они напоминают
брата худобой и высоким ростом, особенно Ампаро, старшая
сестра; однако главное сходство – водянистые глаза бледной
голубизны, которая будто бы растворяется при дневном све-
те, что придает обеим до такой степени «не испанский» об-
лик, что кое-кто из соседей называет сестер Сарате «англи-
чанками». Тихие, замкнутые, верные своему долгу старые
девы, тридцать лет своей жизни они посвятили благополу-
чию адмирала. С тех пор как он оставил морскую службу,
они заботились о нем так же, как когда-то о старике отце; как
заботилась бы мать, которую все трое рано утратили. Обе
сестры живут исключительно ради заботы о брате, их отвле-
кает только религия, все предписания которой они тщатель-
но исполняют, ежедневная месса да чтение нравоучительных
книг.

– Слуга уже забрал вещи, – говорит Ампаро. – Экипаж
ждет на улице.

Она взволнована, а вторая сестра и вовсе едва сдерживает
слезы. Тем не менее обе чопорны, сдержанны: семейная гор-
дость не позволяет излишеств. Обе знают, почему уезжает

адмирал. По их личному мнению, высказанному чуть ранее за столом в гостиной, ничего хорошего от Франции ждать нельзя, кроме всяких вредных философов и прочих дебоширов, не достойных одобрения духовников, – однако гордость от того, что их дон Педро – член Испанской королевской академии и что именно его Академия выбрала для командировки за границу, некоторым образом меняет порядок вещей. Если их брата так высоко оценили, ничего скверного путешествие не сулит. Но дело не только в этом. Ничто не должно препятствовать просвещению народов – наоборот, ему следует только способствовать. А раз уж речь идет о просвещении, не важно, куда собрался дон Педро – в Париж или в Константинополь. В конце концов, их духовники, какой бы святой жизни они ни придерживались и сколько бы божественной благодати ни стяжали, тоже могут изредка ошибаться.

– Мы положили в корзину холодную телятину и две ковриги, – говорит старшая сестра, передавая брату пальто с широкими лацканами, мастерски скроенное из плотного темно-синего сукна. – А еще две оплетенные соломой бутылки пахарете... Как ты думаешь, этого достаточно?

– Не сомневаюсь. – Дон Педро надевает камзол, скроенный по-английски, наподобие фрака, и погружает руки в рукава пальто. – В гостиницах и на постоянных дворах всего достаточно.

– Быть такого не может, – сомневается Пелигрос, которая

ни разу в жизни не выезжала за пределы Фуэнкарраля.

Секунду адмирал гладит увядшие щеки своих сестер. Одно-единственное легчайшее прикосновение к каждой – беглое, чуть неуклюжее проявление нежности.

– Не беспокойтесь ни о чем. Это очень комфортное путешествие. Будем сидеть себе безмятежно в частном экипаже, нам его выделил сам директор Академии, этот экипаж – его собственность... Кроме того, дон Эрмохенес Молина – человек хороший, надежный. Да и слуге тоже можно доверять.

– Не знаю. – Старшая сестра морщит нос. – Мне он показался развязным. И физиономия бесстыжая!

– Так это и неплохо, – успокаивает ее адмирал. – Для нашего предприятия как раз подходит кучер, который много путешествовал и хорошо знает жизнь.

– В молодости ты тоже путешествовал. И тоже хорошо знаешь жизнь.

Адмирал рассеянно улыбается, застегивая пальто.

– Возможно, Ампаро... Но это было так давно, что я уже все позабыл.

Младшая сестра подает ему черную треуголку, чей фетр только что тщательно вычищен и выглядит безупречно. В углублении, подбитом овчиной, дон Педро замечает иконку Святого Христофора, покровителя путешественников.

– Будь очень осторожен, Педрито.

Детским именем Педрито они называют его только в исключительных случаях. Последний раз это произошло два

года назад, когда адмирал три недели пролежал в постели с тяжелым воспалением в груди и его лечили пиявками, микстурами и хирургическими пластырями, а сестры по очереди дежурили возле его изголовья, не отходя ни днем ни ночью, с четками в руках и молитвами Пресвятой Деве на устах.

– Письмо, которое я оставил, нужно будет отправить в Кадис. Бросьте его в почтовый ящик.

– Обязательно.

Адмирал выбирает себе трость среди дюжины других тростей, стоящих на подставке. Серебряная рукоятка, красное дерево. Внутри спрятана шпага – пять пядей отличнейшей толедской стали.

Повернувшись к сестрам, он замечает в глазах у обеих тревогу, хотя ни одна, ни другая не произносят ни слова: они много раз видели, как он выходит на прогулку с этой тростью в руках. Трость-клинок – не более чем средство предосторожности, разумное в нынешние времена. Да и во все прочие тоже.

– У меня в спальне, в тайнике хранятся кое-какие деньги. Вдруг вам понадобится...

– Не понадобится, – перебивает его старшая сестра – в ее голосе звучит упрямая нотка. – В этом доме всегда обходились тем, что есть.

– Я вам привезу кое-что из Парижа. Шляпку или шелковую шаль.

– Вряд ли они лучше наших мантилий, – возражает Пе-

лигрос, чей патриотизм уязвлен. – Их привозят с Филиппин, а эти острова принадлежат Испании... Что мы будем делать с французскими платками?

– Ладно, поищу что-нибудь другое.

– А лучше не трать деньги на всякие глупости, – наставляет его Ампаро. – И главное – будь осторожен.

– Мы едем за книгами, а не на военную кампанию.

– Все равно: никому не доверяй! Деньги спрячь подальше. И будь осторожен с едой. Они там во все добавляют много жира и сала, а это вредно для желудка...

– Они там улиток едят, – мрачно замечает младшая сестра.

– Договорились, – успокаивает их адмирал. – Никаких улиток, никакого сала. Только чистейшее оливковое масло, клянусь!

– Оно точно есть в Париже? – беспокоится Пелигрос. – А на постоянных дворах?

Дон Педро улыбается нежно и терпеливо:

– Я в этом совершенно уверен, сестренка. Не переживай.

– Одевайся теплее, – настаивает Ампаро. – И не забывай менять носки, если промочишь ноги... Мы тебе положили шесть пар носков. Говорят, во Франции проливные дожди.

– Непременно, – вновь успокаивает ее адмирал. – Ни о чем не беспокойтесь.

– Ты взял с собой микстуру, которую тебе приготовил аптекарь? Тогда следи, чтобы флакон был накрепко закупорен.

И не забудь его где-нибудь. У тебя всегда были слабые легкие.

– Из рук не выпущу!

– А главное, поосторожнее с француженками, – добавляет Пелигрос как более решительная.

Ампаро вздрагивает и смотрит на нее с осуждением:

– Господи, сестра...

– А что такого? – возражает Пелигрос. – Разве ты не знаешь, что про них говорят?

– Интересно, где ты все это слышала? И вообще, повторять такие вещи нескромно для христианки.

– При чем тут скромность? Они те еще штучки, эти француженки.

Старшая в ужасе осеняет себя крестным знаменiem:

– Боже правый... Пелигрос...

– Я знаю, что говорю. Там все женщины – философы, или как их там. Сидят в специальных модных салонах и болтают с мужчинами про философию... А в один прекрасный день начинают шляться по кофейням. Не говоря уже обо всем остальном!

Адмирал смеется, заслонив лицо шляпой. Короткий серый хвост на затылке перехвачен черной лентой из тафты.

– Об этом точно можете не беспокоиться. У меня такой возраст, что мне не нужны ни француженки, ни испанки.

– Это тебе так кажется, – возражает Пелигрос. – Там кавалеры очень нужны, правда, Ампаро?.. А для своих лет ты

еще очень даже ничего.

— Разумеется, — соглашается Ампаро. — Там такие нарасхват.

В первых лучах солнца, вытянув под столом ноги и засунув руки в карманы, Паскуаль Рапосо сидит в кабачке «Сан-Мигель» перед кувшином вина, прямо напротив открытой двери. Он наблюдает за двумя мужчинами, которые о чем-то беседуют, стоя на противоположной стороне улицы возле экипажа, запряженного четырьмя лошадьми. Один из них, высокий и худой — темное пальто, треуголка, в руке трость, — только что вышел из ближайшего портала и подошел к другому, низенькому и полному, в испанском плаще и бобровой шляпе. Кучер пристраивает последние пожитки на крыше экипажа: это бородатый тип неотесанного вида, закутанный в плотный тяжелый плащ. От опытного глаза Рапосо, привыкшего подмечать детали, необходимые для его ремесла, — другие глаза, более неспешные и менее зоркие, однажды раскаиваются, не заметив эти крошечные, но весьма красноречивые подробности, — не ускользнуло ни ружье в чехле, пристроенное на облучке, ни коробка с пистолетами, которую кучер держал под мышкой, вынося из дома багаж, и которую сунул вглубь экипажа прежде, чем приладить сверху сундуки и чемоданы.

В свои сорок три года, подточенный тяжелыми испытаниями, нося над левой почкой застарелый рубец от удара

кинжалом и узнав не понаслышке каторгу Сеуты, Рапосо по-прежнему жив благодаря неусыпному вниманию именно к таким мелочам. Семь лет армейской службы, которую он давно уже заменил деятельностью совсем иного свойства, как нельзя более способствовали его зоркости, точнее сказать, стали основой для того, что наслоилось позднее. Привычки и острый глаз – вот что его спасало. Для бывшего кавалериста существование представляло собой неустанное бегство от возмездия. Выживанием любой ценой в условиях различных пейзажей и ремесел, ни одно из которых не было простым. Наоборот: все были тяжелые, опасные и рискованные.

Двое мужчин усаживаются в экипаж и закрывают дверцы, а кучер пристраивается на облучке. Щелкает хлыст, и лошади трогаются с места, неторопливым шагом увлекая за собой экипаж в сторону Сан-Луиса. Оставив на столе монету, Рапосо встает, не спеша натягивает свою марсельскую куртку с украшениями из бархата и надевает андалузскую шляпу, заливчато надвинув ее на лоб. Хорошенькая молодая особа с волосами соломенного цвета и мантильей на голове, выйдя из ближайшей церкви, проходит мимо него, цокая каблуками. Рапосо с невозмутимой наглостью заглядывает ей в глаза и галантно отступает, позволяя пройти мимо.

– Благословен тот священник, который крестил вас, красавица.

Женщина удаляется, не обращая на него внимания. Ни-

чуть не обиженный ее презрением, Рапосо провожает ее взглядом, щелкает языком и в некотором отдалении шагает за экипажем вдоль улицы Кабальеро-де-Грасиа. В этом нет особой необходимости, потому что за эти часы бывший кавалерист уже навел справки и знает, каким путем покинет Мадрид маленькая экспедиция членов Академии. Но на всякий случай лучше перестраховаться. Ему известно, что они движутся в сторону дороги на Бургос, предполагая покинуть город через ворота Фуэнкарраль или Санта-Барбара. Рапосо отлично знает этот маршрут, все его постоянные дворы и гостиницы; учитывая время суток, необычайно сухую погоду и добрые восемь или десять часов пути в приличном темпе, путешественники, по его расчетам, проедут на следующий день Сомосьерру, остановившись, по всеобщему обыкновению, на ночлег в постоялом дворе Хуанильи. Там он и предполагает их догнать, прежде чем они начнут третий этап своего пути. Он поедет не спеша, верхом на коне, это превосходное животное он приобрел три дня назад: буланый жеребец-четыrehлеток среднего роста, здоровый и крепкий, способный преодолеть большое расстояние или, по крайней мере, добрую его часть. Как запасной вариант, в случае необходимости можно будет приобрести другого коня или взять на постоялом дворе. Что же касается снаряжения для этого четырехнедельного путешествия в Париж, старый добрый опыт приучил Рапосо довольствоваться лишь самым необходимым: кожаный кофр, притороченный к седлу, сумка с про-

визией, закапанная воском шинель на случай холодов, одеяло из Саморы, скатанное в рулон и пристегнутое ремнями, да старая кавалеристская сабля, спрятанная внутри свернутого одеяла. Все это заранее подготовлено и упаковано в гостинице на улице Пальма, где он проживает, согревая в холодные ночи дочку хозяйки, – сама же хозяйка лелеет глупую надежду, что однажды они поженятся, – а тем временем конь его, сытый и вычищенный под седло, поджидает в конюшне у ворот Фуэнкарраль.

– Черт подери, Паскуаль, вот так сюрприз! Лопни мои глаза!

Несвоевременность встречи не стирает улыбку с физиономии Рапосо. В его рискованном ремесле улыбка является одним из правил, до тех пор пока в определенный момент не превратится в кровожадный оскал. На этот раз его приветствовал старый приятель, с которым они когда-то вместе обстрепывали темные делишки в районах Баркильо и Лавапиес: цирюльник с косицей, заплетенной на цыганский манер, и сеткой для волос на голове, его заведение расположено на этой улице; этот тип не только ловко бреет бороды клиентам, но и неплохо обращается с гитарой, а также отлично пляшет фанданго и сегидилью.

– Заходи, старик! Приведу в порядок растительность у тебя на лице, а заодно поболтаем. За счет заведения, так сказать.

– Я спешу, Пакорро, – извиняется Рапосо. – Занят.

– Да это всего минута! Есть одно дельце, которое тебе непременно понравится. – Цирюльник заговорщицки подмигивает. – Как раз по твоей части.

– По моей части много чего.

– Тут дело особое: пахнет анисом и кунжутом и само говорит: скушайте меня! Помнишь Марию Фернанду?

Рапосо насмешливо кивает:

– Ее помню не только я, а еще половина Испании.

– Так вот: возле нее вертится один тип. Богатенький пижон. Маркиз или что-то в этом роде. А может, и не маркиз он вовсе никакой, может, все наврал.

– И что?

– Парнишка обожает вырядиться как попугай и таскать ее с собой по притонам. Там-то мы с ним и подружились. А потом мне пришлось в голову, что можно было бы как-нибудь его разыграть с этой девушкой.

Последнее слово вызвало у Рапосо кривоватую усмешку.

– Мария Фернанда не была девушкой даже в утробе матери.

Цирюльник мигом соглашается:

– Верно, но пижону про это ничего не известно. А значит, из него можно вытряхнуть хорошенькую сумму... Можешь сыграть оскорбленного брата?

– У меня сейчас дела поважнее.

– Ясно. Очень жаль... С навахой в руках ты выглядишь очень внушительно, надо заметить. Да и без навахи тоже.

Рапосо пожимает плечами, прощаясь с приятелем:

– Как-нибудь в другой раз, Пакорро.

– Ну, ежели так, давай в другой раз.

Рапосо удаляется прочь от цирюльни, в то время как карета академиков катит по улочкам Сан-Луиса. Он ускоряет шаг, чтобы их нагнать, и обнаруживает, что они повернули направо. Очевидно, направляются к воротам Фуэнкарраль, как и предполагалось. Значит, самое время вернуться в гостиницу, собрать вещи, проститься с дочерью хозяйки и забрать коня из стойла.

– Подайте, Христа ради. – Дорогу ему преграждает хро-
мой нищий, показывая культю вместо руки.

– Пошел вон!

Заглянув в его зверскую физиономию, нищий испаряется с поразительным проворством: был – и пропал. Глядя, как удаляется экипаж, Рапосо озабоченно пощипывает бакенбарды. В этот миг его мозги представляют собой сложнейшую и точную схему, на которой отмечены лиги и мили, трактиры, гостиницы, постоянные дворы. Дороги, которые бегут параллельно, обгоняя друг друга или пересекаясь. Он усмехается, обнажив клыки. Сейчас он похож на хищника. Для человека, подобного ему, чья работа – видеть, как убивают людей, или же убивать их собственноручно, большая часть вещей утратила свое первоначальное значение и мало что кажется важным или преисполненным смысла. Зато он по собственному опыту знает, что люди делятся на

две основные группы: те, что совершают подлость, побуждаемые врожденной порочностью, ради выживания или же по причине трусости, и те, кто, подобно ему, совершают подлость, оплаченную по предварительной договоренности. Другое ценное приобретение – это уверенность в том, что в несправедливом мире, который ему довелось как следует изучить, существуют только две возможности пережить несправедливость, совершается ли она по воле людей или богов: сносить покорно и терпеливо или же заключить с ней союз и действовать заодно.

3. Диалоги на постоянных дворах и в пути

Законы физики и опыт – вот на что следует ориентироваться человеку. Именно их следует учитывать в первую очередь, размышляя о религии и морали, законодательстве и политическом правлении, науках и искусстве, наслаждениях и невзгодах.

Барон Гольбах. Система природы

Задумав воссоздать путешествие из Мадрида в Париж, я столкнулся с некоторыми техническими сложностями. Дело в том, что сами условия подобных перемещений были совершенно иными: то, что сейчас представляет собой шоссе и автобаны, в XVIII веке было скверными грунтовками, изъезженными колесами повозок и истоптанными копытами, а в иные сезоны по ним и вовсе невозможно было проехать. В то время путешествие было синонимом приключения. Даже система постоянных дворов, гостиниц и почтовых станций – дежурных пунктов, где меняли запряженных в повозку лошадей, – не была достаточно отлаженной, какой сделалась столетием позже. Одной из причин беспокойства просвещенных монархов, подобных Карлу Третьему, было создание надежной сети сообщения, которая могла бы гарантировать безопасность поездок и большой комфорт для пу-

тешественников.

Несмотря на то что отпечатанные в типографии справочники дорог существовали уже века назад, во времена, о которых идет речь, учитывая моду на путешествия и любознательность, присущую самому веку, подобный вид путеводителей стал в высшей степени популярным: их издавали в виде брошюр, где описывались перемещения между европейскими столицами или маршруты вглубь страны, а расстояние указывалось в лигах — пять с половиной километров, именно столько обычно преодолевалось за час — между одной почтовой станцией и другой; таким образом, владеющий справочником путешественник мог заранее продумать каждый отрезок пути, имея в виду, что общий маршрут, который он преодолевал за сутки, не превышал, как правило, шести, максимум десяти лиг.

В моей библиотеке и раньше имелись образцы таких путеводителей, несколько других я приобрел специально, чтобы написать эту книгу. Среди испанских наиболее толковым оказался путеводитель Эскрибано, изданный в 1775 году, французская же часть пути с дорогами и почтовыми станциями была отпечатана в виде справочника в Париже в типографии Жайо в 1763 году. Кроме того, мне понадобились карты, где были бы обозначены дороги, населенные пункты и города той эпохи; как-то раз на аукционе антикварных книг мне посчастливилось раздобыть одну такую карту, на редкость большую и тяжелую, выполненную испанцем Томасом

Лопесом, который подробнейшим образом нанес на нее всю Испанию конца XVIII века. С французской же частью пути помогла разобраться одна старинная приятельница, продавец антикварных книг Мишель Полак; в своей парижской лавочке, которая специализировалась как раз на морских и сухопутных справочниках, она откопала экземпляр «*Nouvelle carte des postes de France*»¹¹.

– У меня есть кое-что интересное для тебя, – сообщила она по телефону.

Через четыре дня я прибыл в Париж. На самом деле я готов был воспользоваться любым предлогом, чтобы вновь оказаться в пестрой пещере чудес, расположенной на улице Эшодэ, где книги стоят на полках и громоздятся стопками на полу вокруг электрической печки: всякий раз я с ужасом думаю, что когда-нибудь она подожжет весь магазин.

– Неужели тебя наконец-то заинтересовала суша? – пошутила она, заведя меня в дверях.

– Времена меняются, – ответил я.

Это была старая шутка. Вот уже сорок лет я покупал в этой лавочке книги по мореходству и картографии XVIII–XIX веков, сначала у ее отца – в то время Мишель была хорошенькой девушкой, – а затем у нее самой, когда семейный бизнес перешел в ее руки. Благодаря ее профессиональной помощи среди многочисленных трактатов по навигации я отыскал свою любимую «*Cours élémentaire de tactique navale*

¹¹ «Новая карта почтовых станций Франции» (фр.).

dé dié à Bonaparte»¹² Раматюэля, которой пользовались французские моряки во время Трафальгарского сражения: она понадобилась мне для романа, опубликованного в 2005 году и посвященного именно этому историческому эпизоду.

– А вот и твоя карта, – сказала Мишель.

Карта лежала передо мной, ее размер составлял приблизительно пять пядей на четыре. Абсолютно чистая, в отличном состоянии, подклеенная новенькой тканью: «*Dédié e à son Altesse Serenissime Monseigneur le Duc. Bernard Jaillot, géographe ordinaire du Roy*»¹³.

– Отпечатано в тысяча семьсот тридцать восьмом году, – уточнила Мишель, указав на табличку.

– А для моего времени она не устарела?

– Не думаю. В ту эпоху мир менялся не с такой быстротой, как теперь... Вряд ли за какие-то пятьдесят лет могли произойти существенные изменения.

Я взял лупу, которую она мне протянула, и сразу нашел главную дорогу, по которой следовали мои академики, миновав Байонну. Дорога была отмечена пунктиром: Бордо, Ангюлем, Орлеан, Париж. Каждая почтовая станция обозначалась маленьким кружком. Это была чрезвычайно подробная карта.

– Потрясающе! – сказал я.

¹² «Элементарные приемы морского сражения, посвященные Бонапарту» (*фр.*).

¹³ «Посвящено его величеству светлейшему монсеньору герцогу Бернаром Жайо королевским географом» (*фр.*).

Мишель согласно кивнула:

– О да. Не то слово. Берешь?

Я положил лупу прямо на карту; сглотнул слюну, чтобы скрыть волнение, и посмотрел прямо в глаза Мишель.

– Надо подумать.

Она улыбнулась так, что у меня мороз пробежал по коже. Я уже говорил, что мы познакомились сорок лет назад. На моих глазах она прямо-таки вцепилась в бизнес. Отчасти я ей в этом помогал, как один из старых клиентов.

– Сколько, – спросил я, – ты предполагаешь получить за эту вещь?

Вернувшись в Мадрид и развернув перед собой карту, я продолжил поиски следов моих героев. Помимо всего прочего, нужны были специальные тексты – современники академиков, с помощью которых я мог бы больше узнать о местах, по которым пролегал их путь. К счастью, XVIII век изобилует подобными произведениями: перемещения вошли в моду среди интеллектуальной элиты и многие путешественники публиковали путеводители, справочники и мемуары. Искать не пришлось, у меня имелись подробные сборники Круса, Понса и Альвареса де Кольменара, а также другие записки о путешествиях по Испании и Франции; среди них надо отметить две книги мемуаров – «Путешествие по Испании в эпоху Карла Третьего» Джозефа Таунсенда (1786–1787) и «Европейское путешествие» маркиза де Уреньи (1787–1788), которые вполне удовлетворяли мои запро-

сы и, как я выяснил позже, были просто бесценны по части мелких деталей:

Дорога широка и хорошо утоптана, ее покрывает красная глина. Общим счетом протяженность ее составляет семь лиг, однако имеется отрезок скверной дороги по причине излишней каменистости...

Таким образом, я сумел приступить к той части повествования, когда мои герои уже находились за пределами Мадрида: наметить их маршрут, перечислить названия почтовых станций и постоянных дворов, где путники останавливались на ночь. С помощью воображения проследовать по местам, которые Педро Сарате и дон Эрмохенес Молина, преследуемые злодеем Паскуалем Рапосо, миновали во время своего путешествия. Пройти за ними по пятам и лучше понять значимость их предприятия. Однако даже для такой мелочи, как описание экипажа, в котором путешествовали академики, требовались все новые и новые сведения. Мне нужна была дорожная карета, крытая, надежная и выносливая. В мемуарах Уреньи я обнаружил упоминание о так называемой берлинке, от которой едва не отказался, когда в издании словаря 1780 года обнаружил, что речь идет исключительно о двухместном экипаже, в то время как для моей книги нужен был экипаж четырехместный. В конце концов, перерыв всю свою библиотеку, а также Интернет, я пришел к выводу, что наименование «берлинка» получали и экипажи большей вместимости, и даже отыскал несколько иллюстраций. Вот

почему я решил использовать именно этот термин. Итак, четырехместная берлинка, выкрашенная в черный и зеленый, оборудованная на английский манер с таким расчетом, чтобы можно было впрягать в нее четырех коней, с устроенным наверху багажником для поклажи и облучком, где сидит кучер, любезно предоставленный маркизом де Оксинагой. И вот в этой довольно-таки тряской повозке с раздвижными окошками, наглухо запертыми, чтобы внутрь не набилась дорожная пыль, на потертых кожаных подушках один напротив другого, перебрасываясь время от времени словечком, читая, задремывая, а то и просто молча рассматривая невеселый пейзаж пустынной сьерры, едут наши путешественники – адмирал и библиотекарь.

– Что это за звук? Это, случайно, не волки? – спрашивает дон Эрмохенес, поднимая голову.

– Все может быть.

Рессоры монотонно поскрипывают, пока экипаж, плавно покачиваясь из стороны в сторону, катится по ровной дороге, если же под колесо попадет камень или оно подскакивает на кочке, рессоры издают резкий раздражающий скрежет. Библиотекарь листает старые номера «Исторического и политического Меркурия», «Литературного критика» или «Мадридской газеты», в то время как дон Педро Сарате смотрит в окошко, рассеянно любуясь орлами и грифами, реющими над гранитными скалами или елями, которые

ми изобилует пейзаж ущелья Сомосьерры.

– Темно, ничего не вижу, – жалуется библиотекарь.

Адмирал приоткрывает шторы, закрепляя их ремешками, чтобы его спутнику было светлее, однако очень скоро его любезность оказывается бесполезной. Низкое солнце прячется за деревьями, растущими вдоль дороги, подкрашивая алым выцветшие небеса над заснеженными вершинами гор, которые все еще виднеются вдалеке. Устав напрягать зрение, дон Эрмохенес откладывает журнал на подушку. Затем снимает пенсне, поднимает глаза и встречает взгляд дона Педро, ответив ему доброжелательной улыбкой.

– Как странно, сеньор адмирал. Просто удивительно... Мы с вами столько лет встречаемся в Академии и ни разу не перекинулись даже парой слов... И вот мы здесь, вдвоем, в этой странной авантюре.

– Для меня большое удовольствие, дон Эрмохенес, – откликается его попутчик, – находиться в вашей компании.

Библиотекарь машет рукой:

– Пожалуйста, зовите меня, как все, дон Эрмес.

– Я бы никогда не осмелился...

– Прошу вас, сеньор адмирал. Я уже привык. Это дружеское обращение, и я хочу, чтобы вы тоже звали меня так. Нам ведь придется провести вместе несколько недель. И многое разделить друг с другом.

Адмирал размышляет, словно вопрос действительно представляется ему крайне важным.

– Дон Эрмес, вы говорите?

– Именно.

– Договорились. Но у меня условие: вы тоже будете называть меня как-нибудь иначе. «Сеньор адмирал» звучит слишком пышно для обычного попутчика. Прошу вас, зовите меня моим обычным именем.

– Вы меня смущаете. Среди остальных членов Академии ваше воинское звание – это что-то такое...

– Вот и отлично, – перебивает его дон Педро. – Зовите меня просто адмирал. Без «сеньора». Очень вас прошу.

– Хорошо.

Экипаж слегка накренивается, на мгновение притормаживает, а затем, дернувшись, продолжает движение. Дорога взбирается вверх по склону, и снаружи, с облучка, доносится голос кучера, подгоняющего лошадей, и свистящие удары хлыста. Дон Педро указывает на «Литературного критика», который отложил библиотекарь.

– Удалось найти что-нибудь достойное внимания?

– Так, пустяки. Все как обычно... Яростная защита корриды и свирепая критика свежей статьи, которую юный Моратин написал под псевдонимом.

Адмирал невесело усмехается:

– Не та ли это статья, где критикуют риторику и педантизм испанских авторов, предлагая более современный подход? Та, что в Академии выиграла конкурс и получила нашу премию?

– Она самая.

Адмирал отмечает, что в свое время прочитал эту статью с большим удовольствием и даже был одним из тех, кто голосовал за награждение автора. У Моратина были свежие, яркие идеи, а сам он принадлежал к числу образованных молодых людей с отличным вкусом, которые боролись с варварством невежественных глупцов: привыкшей к пошлости публики, наводняющей театры, где ставят грубые сайнеты о торговках зеленью и их простецких ухажерах или трагедии, полные сказочных чудес, чудовищных бурь, кровавых убийств, великих князьях Московии и башмачниках, которые в последнем акте внезапно оказываются сыновьями короля.

– И вы говорите, «Критик» его разгромил? – подытоживает он.

– В пух и прах... Вы же знаете, наш приятель Игеруэла не жалеет сил.

– Что же ему не понравилось?

– Все как обычно. – Библиотекарь покорно машет рукой. – Традиционные испанские ценности и так далее. Старая песня: заграничные веяния губят исконный дух нашего народа, обычаи, религию и прочее, прочее.

– Печально. Мы, испанцы, по-прежнему главные враги самих себя. Собственными руками закручиваем фитиль повсюду, где замечаем свет.

– Да, но наше путешествие доказывает обратное.

– Это путешествие, простите мою нескромность, всего лишь незначительная капля в море всеобщего равнодушия.

Библиотекарь смотрит на своего приятеля с неподдельным удивлением:

– Вы не верите в будущее, адмирал?

– Не особенно.

– Зачем же вы тогда согласились?.. Почему участвуете в этой аванюре?

Наступает тишина, прерываемая скрипом рессор, топотом конских копыт и щелканьем хлыста. В следующее мгновение на лице дона Педро появляется странная улыбка: печальная, самоуглубленная.

– Когда-то давно, в юности, я сражался на борту корабля... Мы были окружены англичанами, и у нас не было ни малейшей надежды на победу. Тем не менее никому не пришло в голову спустить флаг.

– Это называется героизм, – с восхищением произносит библиотекарь.

Влажные голубые глаза смотрят на него без всякого выражения.

– Нет, – отвечает адмирал. – Это называется стойкость. Уверенность в том, что, победим мы или проиграем, каждый делает то, что обязан делать.

– Но и гордость здесь тоже присутствует, полагаю. Или я ошибаюсь?

– Гордость, дон Эрмес, если приправить ее крупницей ра-

зума, может стать такой же полезной добродетелью, как и все прочие.

– Какие верные слова! Надо запомнить.

Адмирал снова смотрит в окошко. Света становится все меньше. Совершенно прямая дорога бежит по склону вниз, лошади приободрились, и повозка катится легко и быстро.

– Апатия и покорность – вот наши национальные основы, – произносит он в следующее мгновение. – А заодно нежелание усложнять себе жизнь... Нам, испанцам, нравится чувствовать себя чем-то вроде несовершеннолетних. Такие понятия, как терпимость, разум, наука, природа, мешают нам спокойно спать в любимую сиесту... Стыдно сказать, но мы, подобно индейцам или африканцам, последними получаем новости и знания, которые излучает просвещенная Европа.

– Полностью с вами согласен, – отзывается библиотекарь.

– Мало того, любой внутренний импульс мы с готовностью превращаем в боевое копьё, в повод для разногласия: этот автор – экстремадурец, тот – андалусиец, а тот и вовсе валенсиец... Сколько же не хватает нам для того, чтобы быть цивилизованной страной, укрепленной духом единства, подобно другим нациям, которые также, надо заметить, загораживают нам солнце... Уверен, это не лучший способ указывать, как мы имеем обыкновение, где чья родина. В этом смысле лучше похоронить ее в забвении, чтобы каждый приличный человек в первую очередь называл себя испанцем.

– В этом вы тоже отчасти правы, – соглашается библиотекарь. – И все же, мне кажется, вы несколько преувеличиваете.

– Преувеличиваю? Давайте вместе рассудим, дон Эрмохенес... Дон Эрмес. Взгляните сами... У нас нет своих Эразмов, не говоря уже о Вольтерах. Максимум, чего мы достигли, – это падре Фейхоо.

– Уже не мало.

– Но и падре Фейхоо не отказывается от католической веры и преданности монархии. В Испании нет ни оригинальных мыслителей, ни философов. Вездесущая религия не даст им расцвести. И свободы тоже нет... Когда она доносится извне, ее пробуют кончиками пальцев, чтобы не обжечься...

– Конечно, адмирал, вы правы. Но вы произнесли слово «свобода», а это палка о двух концах. На севере Европы свободу понимают совершенно иначе. Убеждать наш темный и дикий народ в том, что он может стать хозяином самого себя, – совершенно бредовая затея. Подобные крайности подвергают сомнению правление королей. Да и короли не захотят бросаться в пропасть реформ, если там их ждет могила.

– Не будете же вы рассуждать про священный характер трона, дон Эрмес...

– Ни в коем случае. Но я хотел все же напомнить об уважении, которое он заслуживает, несмотря ни на что. И мне странно спорить об этом с вами, королевским офицером.

Адмирал улыбается – спокойно, почти любезно. Потом,

наклонившись, дружески хлопает библиотекаря по колену.

– Одно дело, когда человек в случае необходимости отдаст жизнь, видя в этом свой долг, и совсем другое – когда он себя обманывает, рассуждая о королях и правительствах... Верность не отрицает трезвого, критического отношения к действительности, дорогой друг. Уверяю вас, на борту королевских фрегатов мне доводилось видеть такие же недостойные вещи, какие случаются и на суше.

Солнце уже скрылось, и в небе разлилось едва заметное сияние. Мертвенный серовато-голубой свет все еще позволяет различать контуры пейзажа и обрисовывает смутные силуэты обоих путешественников, сидящих внутри экипажа.

– Я всего лишь старый офицер, который любит книги, – продолжает адмирал. – На испанском языке мне доводилось читать про всякое – хороший вкус, просвещение, науку и философию, однако я ни разу нигде не встречал слово «свобода»... А век наш таков, что прогресс и свобода идут рука об руку друг с другом. Никогда ранее свет просвещения не был столь ярок и не озарял будущее с такой силой, а все благодаря самоотверженности новых философов... Тем не менее мало кто в Испании позволяет себе нарушить границы католической догмы. Возможно, кое-кто и мечтает об этом, однако не осмеливается выступить публично.

– Эта предусмотрительность вполне логична, – возражает библиотекарь. – Вспомните судьбу несчастного Олавиде.

– Об этом я и говорю. Просто плакать хочется. Интендант, горячо преданный реформистским идеям нашего короля Карла Третьего, а затем трусливо покинутый монархом и его правительством...

– Ради бога, адмирал. Я совершенно не собирался касаться этой темы. Давайте не будем обсуждать короля.

– Почему не будем? Все рано или поздно упирается в эту фигуру. Как ни крути, именно король приказал Олавиде подготовить реформы, а затем передал его в руки инквизиции. Этот приговор покрыл нас стыдом перед всеми культурными нациями, и всему виной зависимость и полная подчиненность светских властей по отношению к властям церковным... Просвещенный король, подобный нашему, на которого возлагают столько надежд, не имеет права, поддавшись угрызениям совести, довериться инквизиции.

Лишь смутные очертания собеседников проступают в этот поздний час в сгустившихся сумерках. Внезапно раздаётся скрежет, экипаж подскакивает, содрогнувшись с такой силой, что путешественники едва не валятся один на другого. Темная ночная дорога таит в себе неведомые опасности. Библиотекарь приоткрывает окошко и боязливо выглядывает наружу.

– Вы несправедливы, – говорит он, вновь поворачиваясь к адмиралу. – Прогресс не может быть достигнут одним прыжком: это процесс постепенный. По личным убеждениям, далеко не каждый из нас мечтает о падении трона или исчезно-

вании религии... Я, как вы знаете, сторонник просвещения, но не готов перешагнуть через католическую веру. Сияющей целью всегда должна быть вера.

– Целью должен быть разум, – упрямо возражает адмирал. – Мистерия и откровение несравнимы с наукой. Иначе сказать, с разумом. А свобода связана с ним теснейшим образом.

– Опять вы про свободу. – Библиотекарь вновь осторожно высовывает голову в окошко. – Упрямый вы человек, дорогой друг...

– Сам Сервантес говорил устами своего Дон Кихота: свобода – самый прекрасный дар из всех существующих... «Я считаю большой жестокостью делать рабами тех, кого Господь и природа создали свободными»... Что вы там так упорно высматриваете?

– Какой-то огонек вдалеке. Наверное, постоянный двор, где мы проведем ночь.

– Это было бы очень вовремя! У меня уже поясницу ломит из-за этой тряски. А ведь это только начало.

Днем позже Паскуаль Рапосо передает службе повод своего коня, снимает поклажу и, стряхивая пыль с одежды, входит в гостиницу, расположенную на другом берегу реки Арлансы, где напротив большого натопленного камина за тремя столами, не покрытыми скатертью, рассевшись по лавкам, ужинают постояльцы. Один из столов, за которым при-

служивает служанка, занимают двое кучеров – один из них тот, что прибыл с академиками. За другим сидит дюжина погонщиков – Рапосо еще раньше приметил у коновязи мулов и тюки с барахлом, сваленные на дворе под присмотром одного из погонщиков, – которые едят и пьют, громко о чем-то споря. За третьим, чуть в отдалении, расположилась публика попрличнее: двое путешественников, преследуемых Рапосо, а также дама, рядом с которой сидит молодой кабальеро. За этим столом прислуживает лично сам хозяин гостиницы. Заметив Рапосо, он устремляется к нему с не слишком гостеприимным видом.

– Свободных мест нет, – хмуро сообщает он. – Все битком набито.

Вошедший спокойно улыбается. На лице, все еще покрытом дорожной пылью, сверкают белоснежные зубы.

– Не беспокойтесь, дружище. Как-нибудь обойдусь... Сейчас все, что мне нужно, – это горячий ужин.

Его кажущаяся беспечность успокаивает хозяина.

– Это пожалуйста, – говорит он уже чуть любезнее. – У нас есть жаркое из говяжьей головы и пороссячьи ножки.

– А вино какое?

– Вино домашнее. Пить можно.

– Отлично, меня все устраивает.

Хозяин гостиницы придирчиво разглядывает нового гостя с головы до ног, пытаясь определить, за какой стол его усадить. На госте коричневый дорожный костюм с марсель-

ским плащом, замшевые штаны и краги. Он мог бы сойти за охотника, однако от внимания хозяина не ускользнула за-вернутая в одеяло сабля, которую гость вместе с остальными вещами оставил у дверей. Рапосо избавляет хозяина от необходимости что-то решать и усаживается за стол к погонщикам мулов; заметив его, те смолкают, однако без возражений пускают незнакомца за свой стол.

– Всем добрый вечер.

Расопо достает нож с костяной рукояткой, который висел у него сбоку на поясе, открывает его с громким щелчком и режет ржаную ковригу, лежащую на столе. Затем протягивает руку к кувшину, предложенному одним из погонщиков, и наливает себе вина. Служанка ставит перед ним дымящееся блюдо с едой, аппетитной на вид.

– Приятного аппетита, – поизносит кто-то за столом.

– Спасибо.

Рапосо берет оловянную ложку и с наслаждением ест, неторопливо пережевывая пищу. Погонщики возобновляют прерванный разговор. Кто-то курит, пьют все до единого. Обсуждают животных, пошлины и сборы, которые имеют обыкновение взимать возле мостов и сторожевых башен, затем плавно переходят к спору о достоинствах тореро Костильяреса в сравнении с Пепе-Ильо. Рапосо уплетает свой ужин молча, не принимая участия в общей беседе и украдкой поглядывая на двоих академиков, сеньору и юношу, сидящих за дальним столом. Последние, без сомнения, путе-

шествуют во втором дорожном экипаже, который Рапосо заметил возле постоянного двора. А кучер их, должно быть, тот парень, который сидит за соседним столом, рядом с извозчиком академиков. Женщина среднего возраста, на вид привлекательная, а сидящий рядом юноша имеет с ней очевидное сходство. Оба, в особенности женщина, беседуют со своими сотрапезниками, однако слов их Рапосо не слышит.

— А что, эти сеньоры действительно занимают все комнаты? — спрашивает он служанку, когда та приносит еще вина.

Девушка отвечает утвердительно. Два пожилых кабальеро занимают одну комнату, женщина и юноша спят каждый в своей спальне. Судя по всему, заключает она, это мать и сын, а направляются они в Наварру. В другой комнате спят двое извозчиков; а большую, где имеется шесть тюфяков, занимают погонщики. Чтобы остановиться на ночь, Рапосо лучше договориться с погонщиками насчет места или ночевать в конюшне.

— Спасибо, детка. Я что-нибудь придумаю.

Вытирая тарелку кусочком хлеба, ястреб изучает свою добычу. Низенький и плотный — это, несомненно, и есть тот самый дон Эрмохенес Молина; сейчас он любезно беседует с сеньорой и юношей. Заметно, что оба, в особенности женщина, весьма довольны компанией, которой их наградило путешествие. Библиотекарь на вид приятный, внимательный, мирный и необидчивый; он принадлежит к тем людям, которые располагают к себе с первого взгляда. Второй, брига-

дир или адмирал Сарате, почти не участвует в разговоре: он лишь кивает или отпускает короткие замечания, когда сотрапезники с ним заговаривают. Высокий, худой, седые волосы собраны в небольшой хвост, которые обычно носят морские офицеры, он сидит на самом краю лавки, руки прижаты к столу; держится напряженно и прямо, словно на военном смотре. Внимательно прислушивается к разговору за столом, изредка вмешиваясь воспитанным тоном, чуть меланхолическим или же рассеянным.

– Дружище, вы не передадите мне подсвечник?

По просьбе Рапосо один из погонщиков протягивает ему латунный канделябр с наполовину сгоревшей свечой. Поблагодарив погонщика, Рапосо вытаскивает из кармана пачку с четырьмя сигарами, сует одну в рот и подносит ее кончик к пламени свечи. Затем откидывается назад, выпускает облако дыма и рассматривает стол, за которым сидят двое кучеров. Он уже знает, что кучера академиков зовут Самарра и что он, как и берлинка, принадлежит маркизу де Оксинага, который приставил его к путешественникам в качестве сопровождающего. Готовясь к отъезду из Мадрида, Рапосо собрал о нем кое-какую информацию: сорок лет, безграмотный, со следами оспы на лице. Никому не известный, неотесанный, он привык к дальним дорогам и их перипетиям и на редкость неуклюж, если только не сидит на своем облукке, держа в руках вожжи и хлыст. Без сомнения, там, у себя наверху, он отлично владеет ружьем, которое везет с собой в чехле.

– Это в дубраве, не доезжая до почтовой станции Милагрос и реки Риасы. Мимо не проедете.

– Не там ли, где деревянный мост?

– Нет, ближе... В ущелье, которое ведет к переправе.

Рассказ одного из погонщиков привлекает внимание Рапосо. Грабители, повторяет погонщик. А служанка горячо кивает головой. В этих краях орудует целая шайка, на дороге к Аранда-де-Дуэро. Неделю назад напали на путешественников. Поговаривают, они до сих пор подстерегают в засаде. Надо быть начеку:

– Главное – путешествовать не поодиночке, – уверяет погонщик. – Собрать как можно больше людей.

Рапосо в последний раз смотрит на стол, где сидят академики, которые все еще беседуют с сеньорой и ее сыном. Затем просит служанку наполнить флягу водой, а кувшин вином; когда та выполняет просьбу, подзывает хозяина таверны, спрашивает, сколько должен за ужин, стойло и овес для коня, платит две песеты, желает погонщикам мулов доброй ночи, прихватывает свои вещи и выходит вон, в темноту, где некоторое время стоит неподвижно и курит, пока дотлевающая сигара не обжигает пальцы. Тогда он бросает ее на землю, давит башмаком, шагает в сторону стойла и бегло осматривает коня, проверяя, не опухают ли ноги и в порядке ли подковы. Затем, отыскав спокойное место подальше от животных, хорошенько взбивает стог сена, сверху постилает шинель и укладывается спать.

Холодно, а в черные отверстия незастекленных окон того и гляди влетит сыч. После похода в уборную, которая располагается во дворе гостиницы, усевшись на своем ложе – скверный тюфяк, набитый козым пухом, сквозь который все равно чувствуются доски, – дон Эрмохенес Молина бормочет вечерние молитвы – наскоро, почти не разжимая губ. На нем ночная рубашка и колпак. При свете маленькой лампы, откуда не только капля за каплей сочится масло, но и поднимается дым, висящий пеленой под потолком, библиотекарь наблюдает, как его спутник, который уже улегся и укрылся одеялом, листает страницы книги, читаемой урывками, «*Lettres a une princesse d'Allemagne*»¹⁴, Эйлера, трехтомник ин-октаво. Уже вторую ночь они делят одну комнату на двоих, однако вынужденное сожителство по-прежнему стесняет обоих. Вежливость и исключительная предупредительность делают более-менее сносными обременительные бытовые мелочи совместного путешествия: раздеваться, слышать чужой храп, умываться над лоханью или пользоваться ночным горшком с деревянной крышкой, притаившимся в углу комнаты.

– Какие славные люди, эта сеньора и ее сын, – говорит библиотекарь.

Дон Педро Сарате кладет книгу на краешек одеяла, заложив пальцем страницу.

– Молодой человек неплохо образован, – соглашается

¹⁴ «Письма немецкой принцессе» (фр.).

он. — А она очень милая женщина.

— Очаровательная, — кивает дон Эрмохенес.

Эта случайная встреча на постоялом дворе — большое впечатление, думает библиотекарь. Приятный совместный ужин, затем — оживленная беседа за столом. Дама из хорошей семьи, вдова полковника артиллерии Кироги, сопровождает своего сына, офицера действующей армии, к невесте, проживающей в Памплоне. Юноша собирается просить ее руки, а матушка их благословит.

— Возможно, мы встретимся по дороге, — добавляет библиотекарь. — Я бы не отказался поужинать с ними еще раз.

— В любом случае мы все вместе отправимся караваном до Аранда-де-Дуэро.

Дон Эрмохенес чувствует легкое беспокойство, что не мешает ему продолжить беседу.

— Как вы думаете, эти разбойники действительно опасны? Честно сказать, кресты, которые иногда встречаешь на обочине, в память о погибших путниках, отнюдь не успокаивают...

Адмирал секунду размышляет.

— Уверен, все будет хорошо, — заключает он. — Тем не менее стоило бы принять некоторые меры предосторожности. Путешествовать всем вместе, экипаж за экипажем, мне кажется правильной идеей.

— К тому же у нас есть двое слуг, вооруженных ружьями...

— Не забывайте и о юном Кироге, который, без сомнения,

тоже сумеет защититься. Да и у нас с вами имеются пистолеты. Завтра перед выездом я их заряжу.

Мысль о пистолетах тревожит библиотекаря еще больше.

– Признаюсь, дорогой друг, я совсем не боец...

Адмирал снисходительно улыбается:

– Так и я не боец, если рассудить. Слишком давно не держал в руках пистолета. Однако, уверяю вас, в случае необходимости вы станете таким же точно бойцом, как и любой другой... Иногда жизнь поворачивается так, что волей-неволей берешься за оружие.

– Надеюсь, оно все-таки не понадобится.

– Я тоже на это надеюсь. Так что спите спокойно.

И дон Эрмохенес укладывается спать, натянув одеяло до самого подбородка.

– Бедная Испания, – расстроено бормочет библиотекарь. – Стоит отъехать на несколько лиг от города – и оказываешься среди дикарей.

– В других странах не лучше, дон Эрмес... Просто здесь неприятные мелочи кажутся еще неприятнее, потому что это – родная страна.

Похоже, адмирал решил в этот вечер отказаться от чтения. Он помечает страницу закладкой и откладывает книгу на столик возле кровати. Затем устраивает голову на подушке. Дон Эрмохенес тянется к фитилю, но на полпути его рука замирает.

– Позвольте мне дерзкое замечание, дорогой адмирал?..

Пользуясь, так сказать, вынужденной близостью, в которой мы оба оказались?

Светлые глаза его собеседника, которые кажутся еще светлее при свете близко стоящей лампы, высвечивающей на его скулах крошечные красноватые сосуды, смотрят внимательно, с легким удивлением.

– Разумеется, позволяю.

Мгновение дон Эрмохенес размышляет. Затем решается:

– Я заметил, что вы человек не слишком набожный.

– Вы имеете в виду религиозные обряды?

– Пожалуй... Ни разу не видел, чтобы вы молились, вам это вроде бы и не нужно. Я задаю этот вопрос, потому что сам делаю это постоянно и мне не хотелось бы раздражать вас своими привычками.

– Своими предрассудками, вы хотите сказать?

– Не издевайтесь, пожалуйста.

Адмирал смеется от души, внезапно отбросив свою постоянную серьезность:

– Ни в коем случае. Простите. Я просто немного пошутил.

Дон Эрмохенес качает головой, терпеливо и доброжелательно.

– Сегодня, остановившись ненадолго размять ноги, мы с вами разговорились о вещах несовместимых... Таких, например, как разум и религия, помните?

– Да, я хорошо помню тот разговор.

– Так вот, мне бы очень не хотелось, чтобы вы относились

ко мне как к лицемеру. Признаюсь, иногда у меня тоже случаются проблемы с совестью, потому что я оказываюсь на границе дозволенного с точки зрения христианской доктрины...

Адмирал поднимает руку, явно собираясь привести какой-нибудь весомый аргумент, но взвешивает свои слова и возвращает руку на одеяло.

— Если бы речь шла о ком-то другом, я бы назвал это лицемерием. — Тон у него мягкий, доброжелательный. — Я имею в виду тех, кто похвастается слепой верой в догмы, а сами потихоньку почитывают Руссо... Но вас-то я знаю, дон Эрмес. Вы человек честный, порядочный.

— Уверяю вас, дело не в лицемерии. Это сложный, болезненный конфликт.

— Свойственный другим, более культурным странам...

Адмирал не заканчивает фразы, его лицо принимает кроткое выражение. Однако патриотизм библиотекаря уязвлен.

— Культурным элитам, вы хотели сказать... — возражает он. — А кто-то все невзгоды тащит на себе. Как вы только что обмолвились, простой народ есть повсюду.

— Я имел в виду другое. — Адмирал указывает на книгу, лежащую на столике. — Только организованное, сильное государство, покровительствующее художникам, мыслителям и философам, способствует материальному и духовному прогрессу своего народа... Но это не наш случай.

Размышляя над этой горькой истиной, оба академика пребывают в молчании.

Сквозь оконные ставни слышен далекий лай собаки. Затем вновь наступает тишина.

– Я погашу свет? – спрашивает дон Эрмохенес.

– Как хотите.

Приподнявшись на локте, библиотекарь задувает лампу. Дымный запах потухшего фитиля заполняет сумерки комнаты.

– Их еще называют просвещенными, – раздается голос адмирала. – Я имею в виду нации, которые культивируют свой дух. А те, чьи обычаи соотносятся с разумом, называют цивилизованными... В противоположность варварским нациям, где главенствуют грубые и пошлые вкусы простого народа, которому они тем самым угождают, одновременно обманывая его.

В темноте дон Эрмохенес внимательно слушает его слова.

– Согласен.

– Отлично. Дело в том, что религия и есть главная форма обмана, изобретенная человеком. Насилие над здравым смыслом, доходящее до абсурда. – Тон дона Педро вновь становится насмешливым. – Что вы, например, думаете, дорогой друг, о полемике по поводу ширилки на брюках? Вы действительно считаете, что церковник должен вмешиваться в работу портного?

– Ради бога, адмирал... Не напоминайте мне про это сме-

хотворное недоразумение, прошу вас. Не расстраивайте меня.

Оба от души смеются, пока библиотекарь не захлебывается приступом кашля. Обсуждаемая всеми заграничными газетами французская мода на единственное отверстие в мужских штанах, иначе говоря ширинку, которая пришла на смену двустороннему отверстию с застёжками справа и слева, то есть традиционному, встретила в Испании яростное противостояние со стороны церкви, которая объявила ее аморальной и противоречащей добрым обычаям страны. В конце концов вмешалась даже инквизиция, издавшая указ, зачитанный в различных церквях и суливший наказание портным и их клиентам, следующим заграничной моде.

– История с ширинкой – наглядный пример того, чем мы являемся и чем нас заставляют быть, пусть даже это всего-навсего анекдот, – говорит адмирал. – Куда хуже рабство и обращение с темнокожими рабами, продажа публичных должностей, цензура в отношении книг, коррида и публичные казни, превращающиеся в общественный спектакль... Нам в Саламанке нужно меньше докторов богословия и больше агрономов, торговцев и морских офицеров. Нужна такая Испания, где бы наконец поняли, что швейная игла сделала для человеческого счастья больше, чем «Логика» Аристотеля или полное собрание сочинений Фомы Аквинского.

– Согласен с вами, – кивает библиотекарь. – Просвеще-

ние, без сомнения, должно стоять во главе угла. Именно оно будет тем механизмом, который так необходим новому человеку.

— Ради него мы с вами и едем в такую даль, дон Эрмес... Трясемся в проклятой повозке, снедаемые клопами, расчесывая укусы вшей, спим на тюфяках, которые смутили бы самого Юпитера. Чтобы от себя лично вложить в этот механизм, о котором вы говорите, крошечный винтик.

— А заодно купить в Париже пару штанов с этими новомодными ширинками!

Оба опять смеются. Как и в прошлый раз, библиотекаря сотрясает новый приступ кашля. Не обращая на него внимания, он некоторое время все еще хрипловато посмеивается, уставившись взглядом в окружающие их со всех сторон тени.

— Доброй ночи, адмирал.

— Доброй ночи.

Мадрид, Аранда-де-Дуэро, Бургос... В ближайшие дни, освоившись кое-как с картами и путеводителями по дорогам XVIII века, я более тщательно продумывал маршрут моих академиков, отмечая постоянные дворы и почтовые станции, а также расстояние в лигах между одной точкой и другой. Затем все это я перенес на карту Томаса Лопеса, а в заключение сравнил с современным путеводителем. Большая часть нынешних дорог совпадала со старинными: шоссе и автобаны в несколько полос пришли на смену старым грунтовыми коле-

ям, разбитым колесами и подковами, однако сама дорога в большинстве случаев оставалась той же самой. Кроме того, я заметил, что некоторые второстепенные трассы в точности повторяют старые, и отмеченные на них топонимы совпадают с теми, что указаны на картах XVIII века: постоянный двор Педресуэлы, Кабанильяса, гостиница Фонсиосо... Моим задумкам больше всего соответствовали наименее людные дороги. Несмотря на асфальт и современные указатели, они сохранили очертания, оставшиеся с тех времен, когда, прокладывая их, в первую очередь выбирали ровную, надежную поверхность, учитывая изгибы речного русла, а также мосты, переправы, ущелья и теснины. За два с половиной века эти участки мало изменились, заключил я, сравнивая карты. Следуя им, я смог бы увидеть или же с максимальной убедительностью воссоздать те самые пейзажи, которые библиотечарь и адмирал созерцали в продолжение своего путешествия. Таким образом, я сунул в сумку пару старинных путеводителей, современную карту автомобильных дорог, фотоаппарат и блокнот и отправился осматривать эти места, которые в наше время представляют собой окрестности авто-трассы А-1, связывающей Мадрид с французской границей.

И все-таки кое-чего недоставало, чтобы свести концы с концами. В моей библиотеке имелся довольно обширный раздел, посвященный XVIII веку, включавший современные книги, мемуары, биографии и трактаты. Так, одна из этих книг – мне ее посоветовал дон Грегорио Сальвадор – «Как

выглядела Испания во времена правления Карла Третьего» философа Хулиана Мариаса – помогла воссоздать облик мира в том виде, в каком застали его мои герои во время своего путешествия в Париж. Мои записные книжки были полны эскизов и наблюдений, и картина мира того времени в целом была мне ясна; однако не хватало последнего важнейшего штриха: подтверждения того, что моя историческая картина действительно верна. В связи с этим я позвонил Кармен Иглесиас и пригласил ее пообедать.

– Скажи мне все, что ты думаешь о Карле Третьем и его поражении, – попросил я.

– Насколько подробно?

– Представь, что перед тобой твой самый тупой студент.

Она расхохоталась:

– Тебе нужна точка зрения пессимиста или оптимиста?

– Мне нужна объективная оценка.

– Что ж, при нем было много положительного, как тебе известно.

– Сегодня меня в первую очередь интересует отрицательное.

Ее лицо сделалось серьезным.

– Новый роман?

– Может быть.

Она снова засмеялась. Мы познакомились с Кармен двенадцать лет назад. Это была женщина миниатюрная, элегантная и дьявольски образованная. Помимо всего прочего, гра-

финя. В молодости была восприемницей принца Астурийского. Кроме того, написала полдюжины серьезных книг на политические темы и стала первой женщиной, занявшей место директора Королевской исторической академии. Перед этим внушительным зданием, выходящим на угол Уэртас и Леон, я прождал ее целое утро после того, как мы побеседовали по телефону. Был чудесный теплый день. Мы собрались немного прогуляться, а потом зайти в ресторан «Винья-Пе» на площади Святой Анны.

– Карл Третий был хорошим правителем, насколько это оказалось возможно.

Мы направлялись в сторону улицы Прадо, неподалеку от этих мест обитал когда-то библиотечарь дон Эрмохенес Молина. Этот квартал, который называли Лас-Летрас, имел богатую историю: справа от нас находился монастырь, где покоились останки Сервантеса, а буквально в нескольких шагах когда-то стоял дом, где жили Гонгора и Кеведо. Чуть в отдалении жил и умер автор «Дон Кихота». Разумеется, ни один из этих домов не уцелел. И только дом Лопе де Веги, также стоявший по соседству, сотрудники Испанской королевской академии в последний момент сумели уберечь от сноса.

– А образ просвещенной монархии, – поинтересовался я, – соответствует действительности или нет?

Ответ Кармен был уклончив, как я и предполагал.

– Только в определенном смысле, – сказала она. – Карл

Третий не был сторонником прогресса в современном понимании этого слова; однако он прибыл из Неаполя и был образованным человеком, который умел окружить себя адекватными людьми, разумными министрами, исповедующими современные взгляды... Поэтому его деятельность часто соответствовала передовой философии того времени. Некоторые провозглашенные им законы отличались удивительной смелостью и обогнули даже Францию.

Я уже начинал улавливать оттенки ее видения как историка, ее недомолвки и намеки.

– Разумеется, всему виной ограничения, – заключил я. – Одна церковь чего стоила. Не говоря обо всем остальном.

Она засмеялась и взяла меня под руку:

– Дело не только в столкновениях с церковью. Карл Третий был одним из королей, движимых наилучшими намерениями, которых, однако, в значительной степени тормозила их же собственная религиозность... В итоге реакционные силы получили очень выгодного союзника. Они не могли удержать прогресс, однако с успехом свали ему палки в колеса.

– В любом случае это было время надежды.

– Несомненно.

– Складывается впечатление, что вопрос о том, с чем именно связывали эти надежды – с верой или с просвещением, – так и остался без ответа.

Кажется, Кармен меня поняла.

– Испанию восемнадцатого века, – добавила она, – тор-

мозила не только церковь, но и традиции, и всеобщая апатия. Тормозило общество само по себе. В стране, где знать не платила налогов, труд считался проклятьем и к верхушке общества имел право принадлежать лишь человек, ни один из предков которого не занимался физическим трудом, естественной тенденцией были беззаботность и безразличие, а также полное нежелание что-либо менять.

Я остановился, глядя на нее. За ее спиной располагалась лавочка, где продавались старинные гравюры: на витрине были выставлены литографии и большие, подробные географические карты. Одна из них была картой Испании, и я, не в силах побороть искушение, блуждал по ней рассеянным взглядом, стараясь проследить маршрут, которым мои академики двигались в сторону границы.

– Ты хочешь сказать, что в нашей стране никому всерьез не приходило в голову подвергнуть сомнению существующий порядок? И виной тому – не только трусость, но и лень? Мне казалось, у нас тоже были сторонники просвещения.

Она выпустила мою руку. Пожала плечами, держа у груди свою сумочку.

– По сравнению с другими странами Европы просвещения у нас практически не было, потому что никогда не существовало организованного кружка философов или же авторов политических трактатов, где бы свободно обсуждались новые идеи. В нашей стране слово «просвещать» заменили словом «разъяснять», куда более умеренным. Поэтому в просвещен-

ной Европе Испания не существовала самостоятельно, она была лишь эхом, отражающим чужие звучания. Положа руку на сердце, мы даже с большой натяжкой не можем сравнивать Фейхоо, Кададьсо или Ховельяноса с Дидро, Руссо, Кантом, Юмом или Локком... Наше просвещение запнулось на полпути.

– Любопытно, что ты про это заговорила. Вот уже несколько недель подряд читаю тексты обо всем, что касается той эпохи, и нигде ни разу я не встречал слова «свобода» в положительном значении.

– А еще ты вряд ли найдешь хотя бы строчку, которая осуждала бы королевскую власть. И это притом, что почти полвека назад во Франции барон Гольбах написал: «Мог ли народ, находясь в трезвом рассудке, доверить тем, кто все за него решает, право делать себя несчастным?»

– Теперь я понимаю, – заключил я. – Король с наилучшими намерениями, просвещенные министры, и при этом на каждом шагу красная черта, которую нельзя переступать.

– Пожалуй, это неплохое определение. Считанные испанцы осмеливались переступить границы католической догмы и традиционной монархии. Кое-кто этого желал; однако, как я уже говорила, мало кто решался.

Мы продолжили нашу прогулку. На площади Святой Анны все столики открытых кафе были заняты, стайка детей играла на огороженной детской площадке. У подножия статуи Кальдерона де ла Барки сидел аккордеонист, наигрывая

«Танго старой гвардии». На противоположной стороне площади возвышался бронзовый памятник Гарсиа Лорке с голубем в руках: поэт словно бы замер в растерянности, ожидая расстрельного залпа.

– Образованная Испания относилась к этому очень осмотрительно, – подытожила Кармен. – Надо учитывать, что по сравнению с Францией она была слабая, почти анемичная.

Я оглядел площадь, мое внимание задержалось на детях, качавшихся на качелях. Затем я перевел взгляд на взрослых, сидевших за столиками баров.

– Скорее всего, Испании не хватало гильотины, – проговорил я. – Я имею в виду то, что символизирует собой эта штукавина.

– Не шути так грубо.

– Я говорю всерьез.

Кармен взглянула на меня заинтересованно и в то же время возмущенно. Однако над моими словами задумалась.

– Если иметь в виду символ, то, пожалуй, ты прав, – согласилась она. – Здесь, в Испании, не было революции идей, которая затем проложила бы дорогу прочим революциям... Прибавь к этому то, как глубоко укоренились наши призраки, каким темным был из-за них XVIII век и чем сегодня мы обязаны людям, которые боролись в ту пору, когда последствиями их борьбы были не газетная статья или комментарии в социальных сетях, а изгнание, бесправие, тюрьма или смерть.

Они разговаривают о том же: об Испании возможной и невозможной. Пока берлинка, подсакивая на ухабах, катится на север, рессоры ее скрипят из-за скверной дороги, а внутрь забивается едкая дорожная пыль, вылетающая из-под колес едущего впереди экипажа, – этот участок пути они преодолевают в компании сеньоры и ее сына, молодого военного, с которыми познакомились на постоянном дворе, – дон Эрмохенес Молина и дон Педро Сарате дремлют, читают, рассматривают пейзажи, снова и снова возвращаясь к своему бесконечному разговору.

– Да вы никак чешетесь, дон Эрмес?!

– Представьте себе, дорогой адмирал. Какие-то мелкие твари, не знаю, к какому зоологическому виду они принадлежат, кусали меня всю ночь.

– Какое невезение! К счастью, я был избавлен от этой напасти.

– Должно быть, я им больше приглянулся.

Двое мужчин, которые за годы, проведенные в стенах Академии, обсуждали друг с другом разве что лингвистические понятия или же обменивались обычными вежливыми фразами, сходятся все ближе, узнают друг друга все лучше, постепенно сближаясь – если это слово уместно – так, что между ними устанавливаются взаимопонимание и даже начатки дружбы – пока еще смутная, едва различимая для обоих, прочная связь, с каждым днем все более тесная, из тех,

что свойственны благородным душам, когда им вместе приходится сносить непредвиденные обстоятельства, невзгоды или испытания.

– О чем вы думаете, адмирал?

Дон Педро медлит, рассматривая пейзаж за окошком. На коленях у него покоится открытая книга Эйлера, которую он перестал читать уже довольно давно.

– Я думаю о том же самом, о чем мы с вами беседовали накануне вечером. Представьте себе, что бы было, если бы преподавание естественных наук оставило позади обучение схоластике, которое, за редким исключением, царит в наших университетах? Представьте себе Испанию, которая вместо толпы теологов, адвокатов, писарей и знатоков латыни внезапно начинает готовить математиков, астрономов, химиков, архитекторов и естествоиспытателей?

Библиотекарь кивает, вид его выражает удовлетворение, не лишнее, однако, тени сомнения.

– Даже если в стране есть мыслители, философы и ученые, это еще не означает, что в ней непременно появляются достойные правители, – возражает он.

– Да, вероятно. Но если эти образованные люди свободно действуют и выражают свое мнение, народ сможет защитить себя от плохих правителей или от церкви.

– Опять вы за свое. – Дон Эрмохенес досадливо машет рукой. – Не трогайте церковь, умоляю вас.

– Как же, позвольте, ее не трогать? Математика, экономи-

ка, современная физика, естественная история – все это глубоко презирают те, кто умеет выдвинуть тридцать два силлогизма, является ли чистилище газообразным или же твердым...

– Не преувеличивайте, дорогой друг. Церковь тоже уважает науку. Хочу вам напомнить, что первыми Колумба поддерживали монахи-астрономы и настоятель монастыря Ла-Рабига.

– Одна ласточка весны не делает, дон Эрмес. Даже двадцать ласточек, к сожалению, бессильны что-либо изменить. – Адмирал закрывает книгу и кладет ее рядом с собой на сиденье. – Через два с половиной века после Колумба Хорхе Хуан, образованный морской офицер, с которым мне посчастливилось некоторое время общаться, рассказывал, что когда он и Антонио де Ульоа вернулись из экспедиции, снаряженной французским правительством для измерения градуса меридиана в Перу, они были вынуждены скрывать в своих рассказах о путешествии многие научные открытия, потому что цензоры от церкви сочли бы их противоречащими католической догме. Мало того, их заставили объявить систему Коперника *«ложной гипотезой»*... Все это мне кажется совершенно неприемлемым. С каких пор наука должна идти на поводу у очередного епископа?

Библиотекарь добродушно посмеивается:

– Раз уж речь зашла о морских офицерах, меня не удивляет, что в вас пробуждается дух офицера Королевской ар-

мады.

– Единственное, что во мне пробуждается, дон Эрмес, это здравый смысл. Когда на корабле мне приходилось измерять высоту звезд с помощью октанта, потому что днем солнце скрывалось за облаками, «Отче наш» мне был абсолютно ни к чему... В открытом море на помощь приходят только морские карты, лочия, компас и знание астрономии, а вовсе не молитвы.

Экипаж останавливается. Приоткрыв окошко, библиотекарь высовывает голову наружу, чтобы понять, что происходит.

– Я не отрицаю, что отчасти вы правы. Я вполне это признаю... Но прошу и вас уважать мою точку зрения.

– Как вам угодно, – соглашается адмирал. – Но если мы сумеем вырваться на волю из западни предрассудков, наш век справедливо назовут веком просвещения или философии... Я уверен, что прежде, чем подойти к концу, этот век увидит, как человечество избавится от перипатетических и богословских тонкостей и потратит свое драгоценное время на что-нибудь более стоящее. Им на смену придут нужные и полезные науки; и вместо бесконечных ежедневных месс, увеселительных пьесок, корриды, кастаньет, бахвальства и воплей по любому поводу у нас появятся астрономические обсерватории, физические лаборатории, ботанические сады и музеи естественной истории... Чем вы там любуетесь?

– Что-то случилось. Второй экипаж тоже остановился.

Они открывают дверцу и выглядывают наружу. Молодой Кирога высадился из повозки и направляется к ним.

— У нас сломалось колесо, — сообщает он. — Кучер пытается его починить, а ваш отправился ему на помощь.

— Что-то серьезное?

— Пока непонятно. Возможно, повреждена ось.

— Вот незадача... А как чувствует себя ваша матушка?

— Хорошо, спасибо.

Академики высаживаются из берлинки. Адмирал прикладывает козырьком руку ко лбу, пряча глаза от нестерпимо яркого света, и обзревает пейзаж. Дорога бежит по каменистому урочищу, а чуть в отдалении виднеется ущелье, поросшее дубами, среди которых затесалось несколько раkit и олив. Позади на холме возвышаются развалины какого-то замка, от которого уцелели только башня, почти полая внутри, и фрагмент стены.

— С вашего позволения, мы воспользуемся случаем и поприветствуем вашу матушку.

Офицер одобрительно кивает. Его волосы не припудрены, под треуголкой с галуном — единственная деталь в его гражданском обличье, которая выдает военного, поскольку он действительно является поручиком испанских гвардейцев, — приятное лицо с правильными чертами, подрумяненное солнцем и свежим воздухом. На вид ему около двадцати трех или двадцати пяти лет.

— О, она будет рада поговорить с кем-то, кроме меня.

Каждый берет свою шляпу, и все трое направляются к повозке, юный Кирога описывает свои опасения по поводу колеса: видимо, выскочили болты, в результате разболталась ступица и повредился обод. Деревянный мост над рекой Рикасой пришел в негодность, проехать по нему в карете невозможно, а плохо отремонтированное колесо не позволит им пересечь реку через брод, расположенный чуть дальше.

– Возможно, это не единственная проблема, – произносит адмирал, все еще осматривая окрестности.

Проследив направление его взгляда, юноша все понимает.

– Скверное место, – соглашается он, понизив голос. – Под открытым небом и в двух лигах от Аранды... Вас, я так понимаю, беспокоит дубовая роща?

– Да.

– Вы имеете в виду разговоры на постоялом дворе? – беспокоится библиотекарь.

– Именно, – соглашается адмирал. – Разве вы забыли, дон Эрмес, что мы едем вместе с поручиком и его сеньорой матушкой именно по этой причине? Чтобы быть в большей безопасности.

– Вот так неприятность! Однако нас пятеро мужчин, включая двоих кучеров... Это не так уж мало, не правда ли?

– Все зависит от количества разбойников, если таковые действительно где-то бродят. К тому же у нас всего два ружья, которые захватили с собой возницы, да мои дорожные пистолеты.

– Прибавьте к ним мои два, – уточняет юный Кирога. – А также мою форменную саблю.

Адмирал обеспокоенно вздыхает:

– Видите ли, с нами ваша матушка, и, если возникнут неприятности, отбивать атаку будет чрезмерным риском... Это означает подвергнуть ее крайне неприятным потрясениям.

Юноша улыбается:

– Ничего подобного. У этой дамы характер будь здоров. Будучи супругой военного, она еще и не такие передраги видала.

Беседуя, они доходят до второго экипажа, где оба кучера заняты починкой колеса. Самарра объясняет причину поломки: как они и опасались, ступица поврежденного колеса разболталась, и обод развалился; кроме того, повреждена еще и задняя ось. Если им не удастся ее починить, экипажу вместе с кучером придется остаться, а всем остальным продолжить путь в берлинке до Аранда-де-Дуэро, где можно будет достать инструменты и новое колесо. Однако все это возможно лишь в том случае, если дон Педро и дон Эрмохенес не будут возражать.

– Нам с матушкой не хотелось бы задерживать вас или причинять беспокойство, – извиняется молодой офицер.

– Ради бога, поручик. Вы нас нисколько не побеспокоите. Вдова Кирога уже вышла из экипажа и прогуливается вдоль обочины, где растут маки и душистый табак. Ее черное

платье, которое она до сих пор носит для соблюдения траура, привносит в окружающий пейзаж мрачную нотку, которую, однако, смягчает ее приветственная улыбка академикам.

— Досадное происшествие, — вежливо произносит адмирал, одновременно с библиотекарем снимая шляпу.

Вдова спешит их разуверить. Ее не особенно тяготят неудобства, свойственные долгой дороге, к которой она привыкла за годы жизни с покойным супругом.

— Кучер говорит, что, скорее всего, нам придется добираться до Аранды всем вместе...

— Мы вам готовы предложить наш экипаж и с удовольствием проделаем этот путь в вашем обществе, сеньора.

— Боюсь, не будет ли тесновато? Однако нам с сыном тоже будет очень приятно продолжить беседу с вами.

Она смотрит на них обоих, однако обращается к адмиралу. Под фетровой шляпой с кружевами и лентами блестят большие глаза, очень темные и живые. Вдове около сорока пяти, и ее не назовешь ни привлекательной, ни дурнушкой; тем не менее у нее отличная фигура, и она все еще сохраняет бодрость и свежесть. Дон Эрмохенес неторопливо отмечает все это, а также и то, что спутник его держится чуть скованнее, чем обычно; не ускользает от него и поспешное движение, которым он украдкой поправил галстук, когда они направились в сторону сеньоры, учтивые манеры и прямая осанка, и небрежность, с которой он держит шляпу, уперев другую руку в бедро, обтянутое фраком, аккуратнейшим об-

разом скроенным сестрами по английским журналам мод: безупречная современная вещь, сидящая на бывшем моряке как влитая, подчеркивая молодецкую статью, все еще свойственную его фигуре, несмотря на возраст, о котором – с невинным и извинительным, по мнению добродушного библиотекаря, кокетством – дон Педро Сарате старательно умалчивает, тем не менее, по некоторым обмолвкам, возраст исчисляется не менее чем шестью десятками.

– Мы можем все вместе прогуляться вдоль обочины, – предлагает вдова. – Здесь неподалеку река, а времени у нас, как мне кажется, более чем достаточно.

– Отличная мысль, – вторит ей дон Эрмохенес; хотя его беспечная улыбка увядает, когда он замечает обеспокоенные взгляды, которыми обмениваются адмирал и молодой Кирогга.

– Я не уверен, что это хорошая затея, матушка, – отзывается последний.

– Почему? Ведь мы...

Сеньора умолкает, повнимательнее всмотревшись в лицо своего сына. Тот, хмурясь, рассматривает растущую неподалеку дубовую рощу, от которой в этот момент отделяется полдюжины человеческих фигур, все еще едва различимых.

– Вы стреляете метко? – спрашивает молодой Кирогга.

Дон Эрмохенес сглатывает слюну, заметно стушевавшись.

– Стреляю? Даже не знаю, что вам на это ответить...

– Сеньоре лучше всего вернуться в экипаж, – невозмутит-

мо замечает адмирал, – а мне – сходить за пистолетами.

Сидя у подножия замка в тени его пустой крепостной башни, на чьей обветшалой кровле аисты свили гнездо, при-слонившись спиной к остаткам полуразвалившейся стены, Паскуаль Рапосо отгоняет мух и грызет кусок сыра, затем откупоривает зубами пробку и добрым глотком опустошает бутылку вина, стоящую у него в ногах рядом с дорожной сумой. Потом отщипывает немного табака, измельчает ножом и, аккуратно завернув в полоску бумаги, заминает по краям. Прodelав все это, он достает щепотку трута, огниво и кремь, поджигает самокрутку и неторопливо, с наслаждением курит, долгим невозмутимым взглядом наблюдая за тем, что происходит в двухстах варах от него внизу по склону. Эта высота – удобный пункт наблюдения, откуда можно следить, ничем себя не выдавая, за дорогой, где стоят два экипажа, ближайшей дубовой рощей и берегом реки, которая течет чуть в стороне. В центре скалистого урочища виднеется полудюжина людей: отделившись от опушки леса, они широким полукругом неторопливо приближаются к дороге. Они находятся еще слишком далеко, чтобы рассмотреть их как следует, однако опытный глаз Рапосо подмечает, что в руках у них не что иное, как ружья и мушкеты. Путники меж тем отступают обратно к экипажам, а сеньора скрывается в берлинке. Возницы достали ружья и, очевидно, собираются защищать второй экипаж. Юный кабальеро держит в одной

руке саблю, в другой – пистолет. Академикова Рапосо не видит, потому что в эти мгновения их заслоняет карета, однако он почти уверен, что они тоже вооружены.

Бандиты приблизились к экипажам, и один из них поднимает руку, словно приказывая путникам вести себя спокойно. С ленивым любопытством Рапосо вытаскивает из котомки сложенную подзорную трубу, раздвигает ее и подносит к правому глазу, отодвинув на затылок шляпу. Труба позволяет лучше рассмотреть человека, который поднял руку. Его внешний вид годится для книжной иллюстрации: разбойничья шляпа с остроконечным верхом, кожаная куртка и штаны, на плече – короткий мушкет. Его товарищи, определяет Рапосо, чуть сдвинув трубу, также являются собой спонтанное воплощение собственного ремесла: пестрые платки, береты и живописные шляпы с высокой тульей, почерневшие бородатые физиономии, короткие ружья, ножи и пистолеты, заткнутые за кушак. Они не похожи на селян или пастухов, когда те в периоды нужды, не слишком для них редкие, промышляют милостыней или разбоем, нападая на путников, которым не посчастливилось повстречаться им на дороге. Люди, вышедшие из дубовой рощи, гораздо опаснее. Ни дать ни взять готовая добыча для виселицы.

Экипажи и путники все еще находятся варах в тридцати от приближающихся разбойников. Рапосо переводит объектив подзорной трубы на кучеров, которые прячутся за поврежденной каретой. В пятнадцати шагах от них, за другим

экипажем укрылись двое академиков и юный кабальеро. Последний притаился за дверцей берлинки, чтобы защитить женщину, сидящую внутри, и уверенное спокойствие, с которым он сжимает саблю и пистолет, не оставляет сомнений в том, что он сумеет ими воспользоваться. Из двоих академиков Рапосо лучше виден тот, что пониже и покруглее. Он явно не в своей тарелке: без сюртука, в камзоле и жилете, одной рукой вцепился в колесо, словно стараясь удержаться на ногах, другой сжимает пистолет, изо всех сил прицеливаясь, однако со стороны вид у него такой, словно он держит морковь. Второй академик переместился чуть в сторону, и объектив позволяет рассмотреть его лучше. Неподвижный, мрачный, серьезный, он защищает вторую дверцу берлинки, держа пистолет как самый обычный предмет: рука опущена, дуло смотрит в землю. Свободная рука аккуратно одергивает фрак, чьи длинные фалды падают на темные брюки и серые гольфы, зрительно еще больше удлиняя его долговязую худую фигуру.

– Ну-ну, – мурлычет Рапосо сквозь зубы. – Похоже, мои куропатки в обиду себя не дадут.

Он опустил подозрную трубу, чтобы хорошенько затянуться самокруткой, и в этот миг внизу гремит выстрел. Рапосо поспешно подносит трубу к правому глазу. Первое, что он видит, – лежащий на земле разбойник, тот самый, что поднимал руку. Гремят новые выстрелы, холмы отражают эхо, и пороховой дым окутывает облачком скалы урочища

и дорогу. Рапосо быстро переводит объектив с одной фигуры на другую, наблюдая обрывочные фрагменты мизансцены: разбойники, палящие из ружей и мушкетов, возницы, защищающие сломанную карету, юный кабальеро стреляет, а затем невозмутимо перезаряжает пистолеты. Долговязого академика объектив позволяет рассмотреть в подробностях: прямой, напряженный, он делает три шага, хладнокровно вытягивает руку, как в тире во время упражнений, стреляет и, сохраняя спокойствие, отступает; затем делает шаг в сторону второго академика, забирает у него пистолет, который тот судорожно сжимает в руке, так и не произведя ни единого выстрела, делает несколько шагов по направлению к разбойникам и снова стреляет, не обращая внимания на свистящие вокруг пули.

Рапосо кладет подзорную трубу на землю и, зажав в пальцах дымящуюся сигару, с увлечением досматривает финальную сцену: лежащий на земле бандит внезапно вскакивает и, прихрамывая на одну ногу, бежит вдогонку за своими подельниками, которые что есть мочи удирают обратно к дубовой роще. Возницы издают радостные вопли, юный кабальеро и толстенький академик заглядывают в берлинку, чтобы проверить, как чувствует себя сеньора. Чуть в стороне, на обочине дороги застыл долговязый, сжимая в руке разряженный пистолет и глядя, как улепетывают бандиты.

Повозка катится по скверной узкой колее вдоль бесконеч-

ных виноградников, оставив позади отвесные берега реки, которую они пересекли некоторое время назад. Кучер Самарра сидит на облучке, в берлинке едут четверо пассажиров. Адмирал и дон Эрмохенес из уважения к гостям занимают сиденья против движения экипажа; вдова Кирога и ее сын сидят на лучших местах. Все обсуждают подробности происшествия: сеньора то распахивает, то закрывает веер, непринужденно что-то рассказывая; несмотря на происшествие, она явно не утратила присутствия духа. Юный поручик также сохраняет отличное настроение, свойственное его возрасту и званию. В отличие от них дон Эрмохенес до сих пор находится под впечатлением: он еще не оправился от потрясений.

– Вот они, плоды неумелой политики, – рассуждает библиотечарь. – Законов, которые никто не соблюдает, завышенных налогов, отсутствия элементарной безопасности, из-за которых нам стыдно смотреть в лицо цивилизованного мира, отсутствия земельного статута, каковой помог бы привести в порядок всю эту Испанию латифундий, которой владеют четверо богачей, максимум – два десятка... Все это заставляет выходить на промысел огромное количество отчаявшихся, контрабандистов и всякого рода злоумышленников, которые ставят нашу жизнь под угрозу, как, например, сегодня.

– Испанская знать заслужила свои привилегии, – возражает юный Кирога. – Восемь веков борьбы с маврами, сраже-

ний в Европе и Америке вполне оправдывают ее существование... По моему мнению, заслуг достаточно.

– Заслуги, вы говорите? – вежливо осведомляется дон Эрмохенес. – В прежние времена знать собирала собственную армию, чтобы послужить королю, а сегодня ей самой прислуживает целая армия лакеев, цирюльников и портных... Да и сами вы пример противоположного, дорогой поручик. Ваш отец был достойным военным, так же, как и его сын, который только что доказал свою доблесть на деле. Но какое отношение, скажите, имеет тот или иной дворянин к подвигам, которые в одиннадцатом веке совершил какой-нибудь испанский гранд? Чем обязан своему прадеду герцог Такой-то, владелец бескрайних земель, притом что сам он не только не способен обращаться со своими угодьями как положено, но даже и знать про них ничего не желает и нужны они ему только лишь для того, чтобы оплачивать карету, запряженную четверкой лошадей, ложу в театре, почаще появляться в королевских загородных дворцах и прохладиться на бульваре Прадо, хорошенько выпавшись в сиесту?

– Пожалуй, вы правы, – подтверждает вдова Кирога.

На губах дона Эрмохенеса появляется кроткая, печальная улыбка.

– Прав, к сожалению. Потому что мне вовсе не хочется быть правым. Дело в том, что все это, моя госпожа, происходит в Испании, где землю все еще пахут доисторическим плугом, в котором нет ни лемеха, ни ножа, ни отвала, а без

них сопротивляемость почвы сильно возрастает, и это затрудняет работу буйволов... Или ждут неделями ветра, чтобы провеивать пшеницу, понятия не имея о том, что Рейселиус давным-давно изобрел веялки и их всю используют в других странах.

– И осуждают некоторые наши церковники, – добавляет дон Педро Сарате.

Все переводят взгляд на него. До этой минуты он почти все время молчал, не участвуя в разговоре, словно находился где-то далеко.

– Не стоит возвращаться к этой теме, дорогой друг, – умоляет библиотекарь. – Не думаю, что в присутствии сеньоры...

– Ничего подобного, – перебивает его вдова, внимательно глядя на дону Педро. – Было бы очень интересно выслушать мнение сеньора адмирала.

– Мне нечего сказать, – отвечает тот. – Кроме того, что это современное изобретение, о котором говорит дон Эрмохенес, церковь раскритиковала.

– Неужели? А по какой же причине?

– Потому что это мешает людям терпеливо ждать, пока Божественное Провидение пошлет долгожданный ветер.

Молодой человек хохочет:

– Ничего себе! Как обычно, все дело в посредничестве. Кое-кто желает сохранить монополию.

– Луис, прошу тебя, – с упреком обращается к нему мать.

– Ваш сын прав, уважаемая сеньора, – произносит адмирал. – Не ругайте его из-за нас... Он сообразительный молодой человек и попал прямо в цель. К сожалению, проблема стара как мир.

Дон Педро осторожно рассматривает молодого офицера, обращая внимание на его сапоги из отлично выделанной испанской кожи, фиолетовый шелковый платок, повязанный на шею поверх ворота рубашки, замшевые брюки и замшевый же пояс, облегающий туловище под камзолом с дюжиной серебряных пуговиц. Как не похож, заключает адмирал, этот юноша на франтов и дамских угодников с нарисованными на щеке родинками и напудренными кудельками, напоминающими цыплячий пух, которые наводняют тертулии и театральные премьеры; не похож он и на тех, кто из глупого бахвальства братается с кем попало, разряжается в пух и прах, нацепляя сетку на голову, и сходится, пускаясь во все тяжкие, с темными людишками в цыганских трактирах и тавернах, где тореро устраивают гулянки до утра.

– Вероятно, вы много читаете, молодой человек?

– Так, кое-что. К сожалению, не столько, сколько хотелось бы.

– Надеюсь, вы не бросите это занятие. В вашем возрасте чтение означает будущее.

– Не уверена, что книги в большом количестве так уж полезны, – возражает мать.

– Ваши опасения напрасны, дорогая сеньора, – отзыва-

ется дон Эрмохенес. – Нынешний избыток чтения, который кое-кто в Испании по-прежнему считает пороком, даже женщинам и простолюдинам несет свет просвещения, каковой раньше доставался исключительно образованным людям. – Он поворачивается к дону Педро в поиске поддержки. – Вы так не считаете, адмирал?

– Это наша надежда, – отзывается тот, поразмыслив. – Просвещенные и отважные юноши – такие, как наш поручик. Читающие полезные книги. Это и есть те люди, которые рассеют церковный туман.

Услышав последнее, мать осеняет себя крестным знаменем, однако сын лишь усмехается. Дон Эрмохенес снова вмешивается в разговор: ему хочется разрешить новое недоумение.

– Церковь церкви рознь, дорогой адмирал...

Адмирал подмигивает ему с чуть заметным лукавством:

– Вы отлично знаете, что именно я имею в виду.

– Ради бога, адмирал... Не стоит снова затевать этот разговор.

– Не сердитесь, что я упомянул церковь, дорогая сеньора, – просит адмирал, обращаясь к вдове, которая перестает обмахиваться веером и смотрит прямо ему в глаза. – Я не собирался углубляться в эту тему. Когда я говорю с вашим сыном, я имею в виду прежде всего новых испанцев, которые не должны оставаться рабами старого мира... Или военных, таких как он, отважных и в то же время подкованных в раз-

личных светских дисциплинах, которые читают книги и разбираются в геометрии и истории.

– Или моряков, – великодушно уточняет молодой Кирога.

– Разумеется. Просвещенных моряков, которые содействуют развитию торговли, исследуют границы мира и занимаются различными науками. И открывают тем самым двери просвещению и будущему.

– Людей высоких духовных устремлений, которые при этом не перестают быть патриотами, – подытоживает дон Эрмохенес.

– Именно так... Одним словом, молодых испанцев, способных просветить свой век и призванных изучать предметы, которые бы удовлетворяли физические или моральные потребности своих соотечественников.

– Меня тронули ваши слова, сеньор адмирал, – признается молодой Кирога.

– И меня тоже, – вторит ему сеньора.

Дон Педро снисходительно машет рукой. Но он явно польщен.

– Именно так, по моему убеждению, выглядит патриотизм, необходимый юным офицерам, – продолжает он. – Это не тот патриотизм, что привычен салонным шутам, которые свято убеждены, что любовь к родине состоит исключительно в том, чтобы тщательно замалчивать ее пороки и с готовностью принимать любую ее низость, не различая при этом никакого иного света, кроме огонька своей сигары, таскать

сабли по трактирам, громко вопить, плясать менуэт так, будто они берут приступом Маон, и презирать тех, кто усердствует днями и ночами, чтобы уяснить, как с помощью часов измерить долготу в открытом море или сочинить трактат по инженерному делу...

– Вы, вероятно, не знаете, – подсказывает дон Эрмохенес, – что именно адмиралу мы обязаны созданием прекрасного и очень практичного «Морского словаря». И это помимо его деятельности в Испанской королевской академии.

– Да что вы говорите, – восхищается вдова, переводя взгляд с одного академика на другого. – Вы состоите в ассамблее ученых, не так ли? Я имею в виду ту самую, которая занимается чистотой испанского языка.

– Язык мы скорее фиксируем, нежели очищаем, – уточняет библиотечарь. – Наша задача – по возможности отслеживать использование испанского языка его носителями и, приходя им на помощь с «Толковым словарем», «Орфографическим справочником» и «Академической грамматикой», разъяснять, какие пороки его уродуют... Но в конечном счете хозяин языка – это народ, который на нем говорит. Слова, которые сегодня кажутся неблагозвучными из-за своего иностранного или простонародного происхождения, со временем воспринимаются иначе, став принадлежностью обычного языка.

– А если это произойдет, что будете делать вы и ваши друзья?

– Разъяснять языковые нормы, опираясь на наших лучших авторов. Их безукоризненный испанский мы используем, чтобы фиксировать слова. Тем не менее, если неправильное использование языка распространяется повсеместно, нам остается лишь смириться со свершившимся фактом... В конце концов, всякий язык – это живое существо, находящееся в постоянном развитии.

Молодой Кирога слушает библиотекаря с большим интересом.

– Вы хотите сказать, что, если бы не усилия Академии, мы бы оказались в скверном театрике, который ставит Лопе де Вега или Кальдерона?

– Ваше замечание доказывает, что у вас хороший вкус, – качает головой польщенный дон Эрмохенес. – И в целом вы правы. Однако лучше сказать, это была бы смесь архаичной бессмыслицы и вульгарных жаргонизмов.

– Вырождающийся язык, на котором говорят как попало, – уточняет адмирал.

– Вот почему, – продолжает библиотекарь, – мы в своей работе стараемся усовершенствовать кастильский язык и очистить его от всего дурного. Зафиксировать лучшие примеры использования, чтобы он звучал чище, красивее и точнее.

– А поездка во Францию как-то с этим связана? – интересуется вдова Кирога.

– В некотором роде. Мы должны изучить кое-какие кни-

ги... Раздобыть материалы, необходимые для нашего «Толкового словаря»...

Дон Эрмохенес внезапно умолкает, не зная, стоит ли вдаваться в подробности, и в конце концов в поисках поддержки поворачивается к адмиралу.

– Нас интересует этимология некоторых франконизмов, – уклончиво отвечает тот.

– Вот именно: этимология.

Сеньора обмахивается веером: ученая беседа пришлась ей по душе. Возможно, все дело в этом скромном доне Педро Сарате, на которого по-прежнему направлено ее внимание.

– Просто невероятно, – возражает вдова. – Ваша работа доказывает глубокую любовь к нашему языку... Должно быть, его величество всячески вам покровительствует.

Академики переглядываются: дон Эрмохенес – сконфуженно, адмирал – иронично.

– Определенная симпатия со стороны короля, вероятно, существует, – говорит адмирал, едва скрывая улыбку. – Что же до королевских денег, то это дело другое.

Молодой Кирога смеется, восхищенно качая головой:

– Ваша деятельность, господа, достойный пример служения родине.

– Что ж, я рад, что военный смотрит на это дело именно так.

Молодой человек ударяет себя ладонью по лбу, словно внезапно его осенила некая мысль.

– Как это я сразу не вспомнил, – говорит он. – Черт подери!

– Луис, прошу тебя, – останавливает его сеньора.

– Извините, матушка... Просто я только что сообразил, что видел в Военной академии «Морской словарь» сеньора адмирала. Я даже выписывал оттуда какие-то сведения; но до сих пор не связал книгу с именем автора.

Дон Педро Сарате уклончиво машет рукой: это жест благородного безразличия.

– Речь, дорогой мой поручик, идет прежде всего о книгах, – говорит он. – И мне важно, кем они написаны: мной или кем-то другим... Важно то, что благодаря нашей приятной беседе стало ясно, что вам они не чужды. А возвращаясь к прежнему разговору, можно утверждать лишь одно: никто не станет мудрецом, предварительно не посвятив чтению по крайней мере час в день, не имея своей собственной, пусть даже самой скромной библиотеки, не найдя учителей, которых уважает, и не умея быть достаточно смиренным, чтобы задавать вопрос и внимательно выслушивать ответ, а потом уметь воспользоваться этим ответом... И стараться, чтобы о нем никогда не говорили того, что Сократ сказал о Евтидеме и что применимо ко многим нашим соотечественникам: «Я никогда не утруждал себя поисками мудрого наставника и всю жизнь старался не только ни у кого ничему не учиться, но даже хвастался этим».

– Точно! Об этом предупреждал меня покойный отец.

– Даю слово: именно так все и было, – решительно кивает вдова Кирога.

– Приятно такое слышать, потому что это и означает «быть просвещенным». Кое-кто считает, что просвещенный человек – это тот, кто плохо отзывается о самой Испании, а не об ее истинных бедах: в недоумении выгибает брови, издевается над собственными дедами, делает вид, что начисто вдруг позабыл родной язык, наспиговывая его итальянизмами и галлицизмами, превратившимися в подобие жаргонных словечек – *toeleta, petiú, pitoyable y troppo sdegno*, которых он нахватался от парикмахеров, учителей танцев, оперных певичек и поваров – всех тех, кого с некоторых пор сделалось модным усаживать с собой за один стол... И все это притом, что науки подвергаются преследованию, тех, кто ими занимается, презируют, а на философа, математика, серьезного поэта смотрят как на клоуна или балаганную обезьянку, которую любой удалец может забросать камнями.

– Сдается мне, мы подъезжаем к Аранда-де-Дуэро, – объявляет дон Эрмохенес, который приоткрыл окошко и высунул голову.

Все также переводят взгляд в окошко. Колеса берлинки внезапно начинают грохотать, словно экипаж въехал на мощеную мостовую центральной улицы города; а закатное небо, чей красноватый оттенок на глазах темнеет, заволакивают над крышами домов густые тучи. Городок небольшой: две или три тысячи обитателей, пара монастырей и

церковных колоколен. На площади, где останавливается экипаж, обнаруживаются трактир и гостиница вполне приличного вида, возле которой путники высаживаются и делают несколько шагов, разминая затекшие ноги, пока кучер выгружает багаж. Дон Эрмохенес вызывается сопровождать вдову Кирога, а поручик и адмирал идут в аюнтамьенто, чтобы сообщить о нападении разбойников в дубовой роще. Когда они покидают аюнтамьенто, стоит уже глубокая ночь. Шагая вдоль крытой галереи в сторону фонаря, освещающего ворота гостиницы, — единственного в окрестностях источника света, — Кирога и адмирал встречают одинокого всадника: отпустив повод коня, всадник не спеша пересекает площадь и исчезает в густом, непроглядном сумраке.

4. О кораблях, книгах и женщинах

Не так давно было признано, что слово «случайность» означает всего лишь наше неведение относительно причин некоторых явлений и что случайностей становится все меньше по мере того, как развивается человеческий разум.

Антуан Депарсьё. О вероятной продолжительности человеческой жизни

Солнце еще не закатилось, когда я уселся за столик открытой веранды на центральной площади Аранда-де-Дуэро. Попросил кофе, открыл пару книг, развернул карту, которую всюду таскал с собой в дорожной сумке, и убедился в том, что до сих пор все в точности совпадало с путеводителями восемнадцатого века: трактиры и постоялые дворы Милагроса и Фуэнтеспины, старый мост через Дуэро, виноградные поля. Даже шоссе, которое шло от трассы А-1 и вело в город, полностью повторяло очертания старой дороги, заезженной колесами и затоптанной подковами. Некоторое время я сидел за столиком, что-то отмечая и просматривая краткую запись, которую маркиз де Уренья сделал в дневнике своего путешествия по Европе в 1787 году:

В Аранде имеются две приходские школы, два мужских монастыря и два женских. Условия не слишком отличаются от Сеговии, постоялый двор

скромный, а трактир скудный...

Главная площадь Аранды за два века, прошедших с тех пор, как сюда прибыли академики, изменилась до неузнаваемости; тем не менее свою форму она сохранила, на ней уцелело несколько старинных зданий и добрая часть галереи, под сводами которой в тот далекий вечер дон Педро Сарате и молодой Кироба возвращались из аюнтамьенто и повстречали Паскуалья Рапосо. Мне предстояло воссоздать атмосферу, чтобы правдоподобно описать такие сцены, как, например, дружеский ужин и приятная беседа, между адмиралом, дон-ном Эрмохенесом, вдовой и ее сыном. Любой из нынешних баров и ресторанов мог находиться на том же самом месте, которое занимали «скудный» трактир и «скромный» постоялый двор – определения, которые в XVIII веке были синонимами скверного, грязного и нищего. Что касается временного пристанища моих ученых мужей, я решил обустроить его в одном из зданий с колоннами, самом старом из всех: я осмотрел его, и оно показалось мне подходящим; его широкие ворота в иное время наверняка вели во внутренний двор, где располагались конюшня и коновязь. С этого места, глядя на противоположную сторону площади, я увидел бар, где запросто мог располагаться трактир, упомянутый Уреньей.

Рассказ маркиза об интерьере постоялого двора не содержит упоминаний о какой-либо мало-мальской роскоши. Без сомнения, на этом постоялом дворе всякому существующе-

му неудобству нашлось бы свое место. Заметки о путешествиях по Европе изобилуют подробными описаниями, поэтому несложно было представить на первом этаже широкий и устойчивый дубовый стол, не покрытый лаком, стоявший рядом с закопченным камином, плетеные стулья с неудобными спинками, подвешенную к потолку люстру с оплывшими желтыми свечами, кухню, куда лучше не заглядывать. На стене возле двери, ведущей в кухню, висит гитара, принадлежащая хозяину постоялого двора, скрипучая деревянная лестница ведет в верхние комнаты, свежевыбеленные, но с вечным дефицитом одеял и соломенных тюфяков. Подробное описание вшей и клопов я решил отложить на другой раз, потому что более всего их водилось в придорожных постоялых дворах, где останавливались погонщики и проезжающие мимо кавалеристы. Именно в тот день, к счастью для моих путешественников, мужиковатая служанка проветрила помещение и протерла теплой водой с добавлением золы – «щелок», указывается в «Толковом словаре испанского языка», выпущенном Королевской академией, – полы в комнате постоялого двора Аранды, придав ей вполне жилой и в целом удовлетворительный вид. А в кухне, где за три реала можно было заказать фунт баранины, за пять кварто – хлебную ковригу, а за восемь – кварталио вина, для вновь прибывших кипел на огне целый горшок с мясом, фасолью и салом.

– Пахнет, как в раю, – замечает дон Эрмохенес, повязывая на шею салфетку.

Служанка приносит дымящийся горшок, из которого все сидящие за столом наполняют свои миски горячим и аппетитным жарким. Прежде чем приняться за еду, вдова Кирогга произносит краткую молитву, благословляющую трапезу, по окончании которой все осеняют себя крестным знамением, за исключением адмирала, который лишь уважительно склоняет голову. В столовой они сидят одни, потому что кучер Самарра ужинает в кухне, а пара экстремадурских торговцев, которые сидели за этим столом, когда появились наши путешественники, закончила ужин и удалилась. Эмоции пережитого дня пробудили аппетит, и ужин протекает в приятном молчании, прерываемом шуточными упоминаниями утренней перестрелки, обменом любезностями и почтительным вниманием к сеньоре, которая с радостью позволяет ухаживать за собой: сын подливает ей вино, разбавляя его водой, а дон Эрмохенес подкладывает ей в миску лучшие ломтики баранины и отрезает куски хлеба. Адмирал ужинает молча, о чем-то размышляя, вежливо прислушиваясь к разговору и время от времени вставляя короткие, точные замечания. Он улавливает внимательные взгляды, которые вдова, сидящая напротив, украдкой устремляет на него, поднося ко рту ложку или отвечая на чей-нибудь вопрос.

Ужин заканчивается, сидящие за столом придвигают стулья поближе к пышущему жаром камину, и начинается тертулия. Ее немногочисленные участники все еще взбудоражены недавними приключениями и понимают, что уснуть быст-

ро им не удастся. Молодой Кироба просит у матери позволения закурить, достает трубку и раскуривает табак, пристроив вытянутые ноги на каминной решетке, а затем, с наслаждением выпуская дым, принимается расхваливать с точки зрения военного хладнокровие, проявленное доном Педро Сарате во время встречи с разбойниками.

– Сдается мне, сеньор адмирал, подобные потасовки случались у вас и раньше.

Адмирал загадочно улыбается, глядя на догорающие в камине угли.

– Это вы, друг мой, держались храбро и решительно, – высказывает он ответный комплимент. – Всякий бы подтвердил, что и вам доводилось принимать участие в перестрелках.

– К сожалению, до сегодняшнего дня ни разу не доводилось. Впрочем, если речь идет о привычке к оружию и стрельбе, в моем случае это вполне естественно: обе эти вещи предусматривает королевская служба.

– Как было бы славно, – упрекает его мать, – если бы служба у его величества потребовала бы от тебя чего-то иного. Как ужасно вырастить сына для того, чтобы однажды его призвали на войну... В моей жизни с твоим несчастным отцом и так было достаточно горя.

В ответ молодой человек беспечно хохочет, покуривая трубку.

– Матушка, прошу вас. Держите себя в руках... Что по-

думают сеньоры?

– Не беспокойтесь об этом, поручик, – успокаивает его дон Эрмохенес. – Нам можно доверять. Вы юноша с хорошим вкусом, высоким духом и развитой речью. А матушка – она всего лишь матушка.

Наступает молчание, будто бы слова библиотекаря заставили всех задуматься. В камине тлеет полуобгоревшая головешка, гостиная постепенно заполняется дымом. На глазах у вдовы выступают слезы, она машет веером, чтобы разогнать дым. Адмирал наклоняется, берет щипцы и отбрасывает дымящую головешку вглубь камина. Вернувшись в прежнее положение, он снова встречает взгляд вдовы Кирога.

– Вы участвовали в морских сражениях, сеньор адмирал? – спрашивает она.

Адмирал отвечает не сразу:

– Случалось.

– Давно?

Горящие угли озаряют сидящих, подсвечивая лицо адмирала и делая заметными красноватые сосуды у него на щеках.

– Очень давно... Вот уже тридцать лет я не ступал на борт корабля. Большую часть жизни я был теоретиком... Сухопутным моряком.

– Не таким уж сухопутным, – перебивает его дон Эрмохенес. – Просто адмирал – человек скромный и не признает своих заслуг. Прежде чем взяться за штудии и «Морской словарь», он принимал участие в нескольких важных мор-

ских операциях.

– Например? – с интересом спрашивает вдова, оставляя в покое веер.

– Взять хотя бы битву при Тулоне, – горячится библиотекарь. – Вот уж где англичане получили по заслугам! Не так ли, дорогой адмирал?

Вместо ответа адмирал улыбается, все еще перекладывая щипцами головешки в камине.

Молодой Кирога, который уже докурил свою трубку, убивает ноги с решетки и с изумлением смотрит на адмирала.

– Вы правда были в Тулоне, сеньор адмирал? В сорок четвертом? Господи... Там была настоящая заваруха, насколько мне известно. Славная битва!

– Вас тогда и на свете не было.

– Ну и что? Каждый испанец знает, как было дело. А вы в то время, наверное, были еще совсем молоды.

Адмирал невозмутимо пропускает мимо ушей намек на возраст и в ответ лишь пожимает плечами.

– Я был старшим лейтенантом на борту сточетырнадцатипушечного «Короля Филиппа».

Молодой Кирога присвистывает от восхищения.

– Насколько мне известно, этому кораблю досталось в битве больше других.

– Он всего лишь был одним из многих... Дон Хуан Хосе Наварро поднял на нем штандарт, вот англичане и набросились.

– Расскажите. Пожалуйста, – просит мать.

– Нечего рассказывать, – скромно качает головой адмирал. – Во всяком случае, лично обо мне. Я командовал второй батареей; занял свое место на нижней палубе в начале битвы, это было около часу пополудни, а на верхнюю поднялся в конце, когда было уже темно.

– Должно быть, было ужасно, да? – перебивает его молодой Кирога. – Столько часов на нижней палубе, всюду дым, взрывы, треск... Простите за нескромный вопрос, но этот шрам у вас на виске, вы его получили в том сражении?

Адмирал пристально смотрит на юного офицера, водянистые глаза делаются будто бы еще прозрачнее.

– Вам хочется, чтобы так оно и было?

– Видите ли... – Кирога колеблется, он смущен. – Даже не знаю, что сказать... По моему мнению, это была бы славная отметина.

Повисает пауза.

– Славная, вы говорите?

– Именно.

– Я совершенно согласна с таким определением, – подтверждает сеньора, несколько уязвленная скептическим тоном адмирала. – Заявляю это как супруга и мать военных.

Дон Эрмохенес, внимательно наблюдающий за доном Педро Сарате, замечает улыбку на его сухих, тонких губах. А может, это всего лишь отблеск огня, упавший ему на лицо.

– Ситуация была не из самых приятных, если вы это име-

ете в виду, – говорит адмирал. – Жаркий был денек, и пришлось нам несладко: три английских корабля подошли почти вплотную и открыли огонь.

Произнеся эти слова, он умолкает, глядя на угли.

– В целом вы правы, – вздохнув, добавляет он через минуту. – Славных отметин в тот день было получено более чем достаточно.

Воображая сцену сражения, юный Кирога вторит адмиралу с пылкостью и энтузиазмом.

– Я всегда восхищался моряками, – признается он. – Сам я привык к войне на твердой земле, и меня поражает, что люди способны выносить подобные тяготы, холод и неуверенность, к тому же в открытом море ориентироваться приходится по звездам или солнцу... К естественной жестокости океана, бурям и штормам добавляются еще и испытания войны... Я видел морские битвы только на гравюрах, но в море это, должно быть, и вовсе нечто чудовищное.

– Всякая война такова, будь она на море или на суше. Уверю вас, поручик, даже самый умелый художник не в силах передать на своей гравюре реальность морского сражения.

– Да-да... Понимаю, что вы хотите сказать. И все-таки слава...

– Поверьте, второй батарее «Короля Филиппа» не досталось и крупницы этой славы.

*Сеньору Мануэлю Игеруэле, проживающему
в Мадриде.*

Выполняя ваши указания насчет регулярных отчетов, пишу это письмо в Аранда-де-Дуэро. Прибыл я сюда нынче ночью, преследуя двоих кабальеро, которых вы знаете. Все это время я старался держаться на некотором расстоянии от них. К счастью, погода стоит отличная, нет ни дождя, ни грязи. Путешествие протекает по намеченному плану, за исключением некоторых происшествий, которые, однако, не слишком задерживают продвижение путников и не наносят вреда их здоровью. Я имею в виду столкновение с разбойниками (которое произошло по отнюдь не зависящим от меня причинам) в окрестностях реки Риасы. Вместе со своими двумя товарищами, занимавшими второй экипаж и сопровождавшими их в поездке, они встретились с бандитами лицом к лицу. В результате злодеи были обращены в бегство (после небольшой перестрелки, во время которой долговязый академик проявил хладнокровие, которого я от него никак не ожидал). Их спутники – сеньора, про которую говорят, что она вдова, и ее сын, офицер, – едут в Памплону в собственном экипаже. Из-за поломки колеса они направились в Аранду в сопровождении наших двоих путешественников. Сейчас все они проживают на постоялом дворе, где в настоящий момент ужинают. Сам я на всякий случай разместился в гостинице напротив (цены бесстыжие, а кормежка дряннее некуда). Как сообщил конюх с постоялого двора, сеньора и ее сын останутся в Аранде, где будут

дожидаться починки своего экипажа. Наши же двое завтра продолжат свой путь. Выезд намечен на восемь утра. Сдается мне, планы их не изменились и они отправятся в Байонну, а оттуда – в Париж, как вы и толковали мне в Мадриде.

Буду писать вам с дороги и обо всем докладывать (как мы и договаривались). В первую очередь о важных происшествиях, если таковые случатся. Если вам понадобится выслать мне дополнительные инструкции или сообщить что-то срочное до тех пор, пока я не покинул Испанию, можете воспользоваться конным посыльным (если, конечно, расходы покажутся вам разумными), он сможет догнать меня на одном из постоянных дворов, в которых я буду останавливаться по пути. Насколько мне известно, самые надежные из них – постоянный двор Хромого в Бургосе (меня там хорошо знают) и гостиница Бривьески или Мачина в Ойярсуне (в них меня тоже знают). Последняя расположена почти что на границе с Францией. Если в ближайшее время я не получу новых инструкций, буду следовать старым.

Передаю вам привет (который распространяется также и на другого кабальеро, вашего друга).

В ожидании распоряжений.

Паскуаль Рапосо

Рапосо складывает листок с письмом, надписывает адрес и, поднеся баночку с сургучом к свече, аккуратно его запечатывает. Завтра он передаст письмо посыльному, заплатив

полтора реала, чтобы тот с первой же почтой отправил его в Мадрид. Затем убирает письменный прибор и допивает последний глоток скверного вина, оставшегося в кувшине на столе. Ужин, как Рапосо только что указал в письме Игеруэле, съеденный в этой самой комнате часом ранее, – подавшая его служанка, плохо отмытая, но с соблазнительными формами, смазливой мордашкой, к тому же не слишком старая, позволила потискать себя, прежде чем удалилась, – был весьма скромный, к тому же не слишком вкусный: половина пересушенной курицы, которая была цыпленком во времена царя Гороха, да два яйца, снесенные, должно быть, этой самой курицей в далекие дни ее юности. У Рапосо еще не закончились кое-какие припасы – пара кусков черствого хлеба и немного сыра, служившие закуской к вину. Беспорядочная жизнь, которую он вел, сколько себя помнит, сперва в качестве солдата, затем человека, готового на все, однажды сильно осложнилась из-за испорченного желудка; и теперь, если в продолжение некоторого времени ему в желудок ничего не попадает, тупая, тянущая боль расстраивает в конце концов все его планы. Потирая рукой живот под расстегнутой рубашкой, надетой поверх штанов, – шерстяные носки он тоже так и не снял, поскольку, стащив сапоги, обнаружил, что пол ледяной, а никакой циновки на нем не предусмотрено, – Рапосо смотрит на серебряные часы с цепочкой, лежащие на столе: французский заводной механизм отличного качества, личный трофей, доставшийся ему после одно-

го давнего дельца, уже почти забытого: бывшему владельцу эта безделушка больше уже никогда не понадобится. Затем встает и подходит к окну с открытыми ставнями. Через толстое оконное стекло Рапосо бросает взгляд на другую сторону улицы, пустынной и окутанной мраком. Гостиница, где остановились остальные путешественники, также погружена в сумерки, которые рассеивает лишь фонарь над воротами, чей жалкий огонек, кажется, вот-вот погаснет. Машинально пощипывая бакенбарды, Рапосо вспоминает стычку, произошедшую сегодня днем вдали от этого места, а также долгового субъекта, именуемого адмиралом, который с таким спокойствием разрядил пистолеты, и на его лице появляется задумчивая улыбка. Кто бы мог подумать, размышляет Рапосо: почтенный сеньор ученый, знаток испанского языка. Какие все-таки удивительные сюрпризы преподносит жизнь! Даже о священнике не станешь утверждать, что он не твой отец.

В дверь стучат – даже, скорее, скребутся, – и улыбка на лице Рапосо меняется. Теперь она выглядит заговорщицкой, предвкушающей скорые удовольствия. Не заботясь о внешнем виде, он направляется к двери и распахивает ее. За дверью стоит все та же служанка, на ней ночная рубаша, голова не покрыта, на плечи накинута вязаная шаль, в руке – подсвечник; верная обещанию, данному час назад, она точна, как двенадцать ударов, которые в это мгновение отбивают часы аюнтамьенто. Рапосо отступает на шаг, служан-

ка неслышно проникает в комнату и задувает свечи на подсвечнике. Без каких-либо вступлений и лишних слов Рапосо протягивает свою лапищу и хватает ее за грудь, увесистую и горячую под грубой тканью рубахи. Затем указывает на стол, где одна на другой лежат две серебряные монеты. Служанка все понимает, хихикает и позволяет его руке делать все, что ей заблагорассудится.

– Только в губы не целуй, – говорит она, когда он подходит ближе.

От нее пахнет долгим рабочим днем, усталостью, грязью и потом. Запах возбуждает Рапосо, и он подталкивает ее к кровати. Уже в постели она задирает рубаху, обнажая бедра, и он трется о ее голые ляжки, устраиваясь поудобнее и растягивая штаны.

– Внутрь не кончай, хорошо? – шепчет служанка.

На губах Рапосо появляется жестокая лисья улыбка.

– Не беспокойся, – отвечает он. – Я ничего там не оставлю, даже если ослепну от вина.

Вечеринка затянулась дольше обычного, ибо означала прощание: они допоздна болтали возле камина, потом юный Кирога попросил у хозяина гитару и, к удивлению ученых мужей, некоторое время развлекал всю компанию довольно сносной игрой. Не в силах более бороться с усталостью и утомлением, дон Эрмохенес и дон Педро поднимаются наверх и в относительно интимной обстановке, которую обес-

печивает тростниковая ширма, обтянутая безвкусно разма-
леванным холстом, раздеваются, чтобы улечься спать.

– Какие очаровательные люди донья Асенсьон и ее сын, –
говорит дон Эрмохенес. – А как замечательно молодой че-
ловек играет на гитаре, не правда ли? Я буду по ним скучать.

Адмирал не отвечает. Он снимает камзол и аккуратно ве-
шает его на спинку стула. Затем расстегивает жилетку и за-
водит часы. Скудный свет двух свечей на латунном канде-
лябре освещает половину его лица, удлиняя тени на смуглых
щеках.

– Что-то мне подсказывает, дорогой адмирал, – продолжа-
ет дон Эрмохенес, – что сеньора тоже будет вас вспоминать.

– Не говорите ерунды.

– Я совершенно серьезно. Все мы взрослые люди, научен-
ные опытом, и умеем читать по глазам. По-моему, вы поко-
рили ее сердце.

Тени, падающие на лицо адмирала, складываются в неяс-
ную гримасу.

– Ложитесь спать, дон Эрмохенес. Время позднее.

Библиотекарь покорно удаляется за ширму, прихватив с
собой ночную рубашку, и начинает раздеваться.

– Ничего странного тут нет, – настаивает он. – Почтенная
вдова вовсе не стара. Да и вы хоть куда в свои...

Он на секунду смолкает, высунувшись из-за ширмы, ожи-
дает, пока адмирал закончит фразу. Но адмирал не реагиру-
ет. Всякий раз, когда речь заходит о его возрасте, он упрямо

отмалчивается. Сейчас он сидит на постели в брюках и рубашке, развязывая ленту, которая стягивает его волосы.

– Кроме того, – дон Эрмохенес снова высовывается из-за ширмы, – ваша манера держаться не оставляет равнодушным.

– Моя манера?

– Именно, мой друг. Вы всегда такой серьезный. Такой сдержанный и осмотрительный!

– Даже не знаю, как на это реагировать, сеньор библиотекарь.

Дон Эрмохенес, уже в ночной рубашке до колен и колпаке, выносит из-за ширмы сложенную одежду.

– О, это лучший комплимент в мире! Взгляните на меня: росту никакого, пузатый, физиономию приходится брить дважды в день. Просто чудо, что моя покойная благоверная согласилась выйти за такого замуж! Не сразу я ее уговорил. А сейчас я еще к тому же и стар, страдаю подагрой и другими напастями. Вы же, наоборот...

Адмирал поглядывает на него насмешливо, с некоторым любопытством. Не проронив ни слова, достает из чемодана ночную рубашку и направляется за ширму.

– Позвольте задать вам один нескромный вопрос, дорогой друг? – говорит библиотекарь. – Благодаря тому, что мы друг друга все равно не видим?

Адмирал замирает на полдороге и вопросительно смотрит на него.

– Задавайте.

– Вы никогда не думали о том, чтобы жениться?

Повисает пауза. Адмирал погружается в себя, будто бы действительно размышляет над заданным ему вопросом.

– Было дело, – отвечает он наконец. – В молодости.

Библиотекарь молчит, дожидаясь, что адмирал добавит что-нибудь еще. Но тот больше ничего не произносит, только пожимает плечами и исчезает за ширмой.

– Должно быть, все дело в морских плаваниях, – гадают дон Эрмохенес, рассматривая свои ноги, обутые в тапки. – Личная жизнь плохо сочеталась с длительными отлучками и прочим, что предполагает ваше ремесло...

С другой стороны разрисованного холста слышится голос адмирала:

– Я плавал очень недолго и почти всю свою жизнь прожил в Кадисе и Мадриде. Так что дело не в этом.

Снова повисает тишина. В конце концов адмирал появляется в ночной рубашке. В таком виде, думает дон Эрмохенес, он кажется еще более худым и высоким.

– Наверное, я никогда этого всерьез не хотел, – добавляет адмирал. – Эгоистические потребности семейной жизни по части уюта и обустройства дома всегда удовлетворяли мои сестры. По различным причинам они тоже не смогли или не захотели выйти замуж. В итоге посвятили жизнь целиком заботам обо мне.

– А вы свою – заботе о них?

– Видимо, да.

– Значит, это вопрос верности. К тому же обоюдной.

Адмирал снова пожимает плечами:

– Пожалуй, вы несколько преувеличиваете.

– Может быть. В любом случае брак нужен мужчине не

только для...

Библиотекарь смолкает, пристыженный пристальным взглядом адмирала.

– Простите, – бормочет он. – Должно быть, я слишком далеко зашел со своими вопросами...

– Ничего страшного. Наше путешествие обещает быть долгим. И узнавать друг друга – вещь естественная.

Искренняя улыбка адмирала способна разрядить любую напряженность. Это ободряет дона Эрмохенеса, пробуждая в нем даже некоторый азарт.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.